

Черное море. Колыбель цивилизации и варварства

Автор:

[Нил Ашерсон](#)

Черное море. Колыбель цивилизации и варварства

Нил Ашерсон

Книга британского журналиста, специалиста по Восточной Европе и России Нила Ашерсона о Черном море, впервые изданная в 1995 году, посвящена одному из тех мест Земли, которые справедливо именуются “колыбелью цивилизации”. Предметом внимания автора стала богатейшая культурная и политическая история черноморского ареала от древности до наших дней, включая события времен распада СССР. История Черного моря не закончена, и книга Ашерсона увлекательно описывает ее самые неожиданные и драматические повороты.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Нил Ашерсон

Черное море. Колыбель цивилизации и варварства

Моему отцу

Neal Ascherson

Black Sea

The Birthplace of Civilisation and Barbarism

Black Sea was first published by Jonathan Cape in 1995. This Folio edition follows the text of the 2007 Vintage edition, with minor emendations

This edition published by The Folio Society Ltd

Published by arrangement with The Random House Group Limited and Farrar, Straus and Giroux

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

© Neal Ascherson, 1995, 2007

© Neal Ascherson, предисловие, 2015

© В. Бабицкая, перевод на русский язык, 2017

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017

© ООО “Издательство Аст”, 2017

Издательство CORPUS ®

Благодарности

Этой книгой я обязан помощи многих людей – и ныне живущих, и покойных. Как я теперь понимаю, ее идея зародилась во мне в шестнадцатилетнем возрасте, когда я впервые прочитал классический труд Михаила Ростовцева об истории Черного моря – “Эллинство и иранство на юге России”. В то время меня учили латинской и греческой литературе, и я чувствовал, что важно не стать шаблонным “классицистом”. Я пытался найти собственную нишу, из которой я мог бы постичь классический мир не как греко-римлянин – или не как школьник с навязанной поствикторианской версией греко-римского образа мыслей, – но как осведомленный сторонний наблюдатель. Я хотел быть монахом, писавшим стихи на латыни, или грозным скифом, странствующим налегке и нигде не пускающим корней. В любом случае результатом чтения Ростовцева стали своего рода нашествие образов и оккупация моего сознания, от которой я не освободился до сих пор. Большая часть моей жизни миновала прежде, чем я смог выполнить приказ “захватчика”, прежде, чем я смог взойти на курган кочевого царя над устьем Днепра или Дона. И именно Ростовцев был тем, кто изначально отдал мне этот приказ.

Я хотел бы засвидетельствовать свое почтение авторам нескольких других книг, на которые я во многом опирался в некоторых разделах этой. Прежде всего Алану Фишеру (“Крымские татары”) и Патрише Херлай, чья замечательная книга “Одесса: история” стала моим главным источником по истории этого города в XIX веке. Во многих своих рассуждениях я опираюсь на “Зеркало Геродота” Франсуа Артога в изумительно ясном переводе с французского Джанет Ллойд, то же относится и к книге Эдит Холл “Изобретая варваров”. Мрачная пророческая книга Энтони Пагдена “Столкновения Европы с Новым Светом” помогла мне понять, какое значение имеют путешествия между культурами. Большинство сведений и многие соображения об экологии Черного моря позаимствованы из труда Лоуренса Ми и Дж. Ф. Кадди, которые терпеливо и любезно отвечали на мои расспросы. Во всем, что я писал о национализме, я основывался на размышлениях Тома Нэйрна на эту тему.

Два человека больше всех заслуживают моей благодарности за помощь и поддержку. Мажена Погожалы провела тщательное и безупречно оформленное исследование источников о пребывании Мицкевича в Одессе и в Крыму и о странной идеологии сарматизма, которой была одержима старая польская аристократия. Тома извлечений, которые она оставила мне, сами по себе представляют захватывающее чтение, и я навсегда сохраню благодарность к ней. Профессор Энтони Брайер из Бирмингемского университета привез меня на XVIII Международный конгресс византистов в Москву в августе 1991 года, благодаря чему я смог стать свидетелем неудавшегося путча (разразившегося

через несколько дней после окончания конгресса), который в конце концов уничтожил Советский Союз. Он поделился со мной своими необъятными познаниями в византийской истории, прежде всего об империи Великих Комнинов в Трапезунде, и неустанно снабжал меня идеями и контактами; мои ошибки и превратные суждения об этих материях лежат целиком на моей совести, и я надеюсь, что он простит их мне. Кроме того, я глубоко благодарен Игорю Волкову с кафедры археологии университета Ростова-на-Дону, который показал мне Азов и его музей, снабдил меня специальной литературой по истории низовий Дона и в дальнейшем отвечал на мои вопросы длинными и любезными письмами об истории археологии в Южной России.

Я хотел бы выразить благодарность Анатолию Ильичу Кудренко, директору историко-археологического заповедника "Ольвия", и особенно Валерию Федоровичу Чесноку, директору музея-заповедника "Танаис", который позволил мне остановиться в этом месте, организовал для меня программу посещения и одарил меня своей дружбой и советами. Кроме того, я шлю привет Ирине Толочко и Жене Мальченко, Юре и Володе Гугуевым, Инне Солтыс, которая была моей переводчицей в Одессе и показала мне свой город. Я благодарен профессору Джорджу Хьюитту из лондонской Школы восточных и африканских исследований, чьи рекомендации и знакомства помогли мне посетить и изучить Абхазию, сотрудникам Украинского научного центра экологии моря и Тимоти Тэйлору из Брэдфордского университета, который потратил так много времени, обсуждая со мной сарматов и фракийцев, и снабдил меня копиями собственной работы и труда покойного Тадеуша Сулимирского. Наконец, я хочу поблагодарить Вольфганга Фойрштайна, который принял меня в своем доме в Шварцвальде и так открыто и увлеченно говорил о своей работе в области культуры лазов.

Время от времени я появлялся – измученный, грязный и голодный – на пороге сменявших друг друга московских корреспондентов "Индепендент", иногда в моменты тяжелых кризисов. Я всегда встречал теплый прием. Невозможно отплатить за доброту Питера Прингла и Элеанор Рэндольф или Эндрю и Марты Хиггинс. Я всегда буду помнить дни и ночи, проведенные у них.

Не было бы никакой книги и не за что было бы благодарить, если бы не терпение, поддержка и снисходительность моей жены Изабель Хилтон, которая мирилась с прерванными отпусками и одинокими выходными на протяжении нескольких лет. Я надеюсь только на то, что эта книга хотя бы отчасти компенсирует все эти лишения.

Предисловие

За годы, прошедшие с момента публикации этой книги, Черноморский регион превратился для всего мира в предмет постоянного беспокойства. Если в первые полтора десятилетия после распада Советского Союза в 1991 году новообразованные государственные границы оставались неизменными, а правительства большинства приморских стран были заняты внутренней борьбой за установление собственной власти и обуздание экономического хаоса, то в начале XXI века новые фронтиры Черного моря почти без предупреждения стали менять очертания с началом очередной эпохи политических катаклизмов.

Внимание всего мира было приковано к четырем драматическим государственным переворотам и двум маленьким войнам, произошедшим вокруг Черного моря. Грузинская “революция роз” в 2004 году и украинская “оранжевая революция” годом позже были почти бескровными. Так же как и огромная, но безуспешная волна антиправительственных протестов, которая захлестнула Стамбул и другие турецкие города в 2013 году. В 2008 году российская армия начала карательную операцию в Грузии, а кровопролитие в ходе второй украинской революции в 2014-м повлекло за собой подрывные действия со стороны России, аннексию Крыма и восстание в городах юго-восточной части Украины при российской поддержке.

Первый конфликт с Россией начался в августе 2008 года, когда президент Саакашвили импульсивно напал на Южную Осетию и был немедленно отброшен массивным контрударом со стороны России. Танки двинулись вглубь грузинской территории. Тысячи грузин покинули свои дома; разбомбили город Гори (родину Сталина). Перед отходом русские методично уничтожили все военные базы и технику, которые они обнаружили в Западной Грузии.

В течение нескольких недель к Грузии были прикованы взгляды всего мира. Почти сразу же после прекращения огня Россия признала суверенную независимость Южной Осетии и Абхазии. Хотя оба этих крошечных региона вышли из состава Грузии почти двадцатью годами ранее, и США, и НАТО, и Европейский союз осудили признание их статуса как нарушение “территориальной целостности” Грузии.

Вторая украинская революция началась в ноябре 2013 года, когда президент Янукович, уступив российскому давлению, отказался подписать соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. После многомесячных демонстраций, центром которых стал киевский “майдан”, дело дошло до стрельбы, и в феврале 2014 года президент бежал из страны. К власти пришло временное правительство, но российский президент Путин осудил новое положение вещей как незаконный государственный переворот. Многие русскоязычные украинцы на востоке Украины разделяли его точку зрения и объявили новый киевский режим “фашистским”. В феврале 2014 года, после побега Януковича, вооруженные ополченцы, действовавшие по указке Путина и утверждавшие, что они выступают от имени русского большинства жителей Крыма, захватили контроль над полуостровом, на котором по-прежнему располагалась черноморская военно-морская база России – Севастополь.

Несколько недель спустя Крым был аннексирован (“восстановлен” в составе Российской Федерации) под ликующие патриотические возгласы из Москвы. Пророссийские восстания вспыхнули также в крупных городах Восточной Украины, это повлекло за собой продолжительную и кровопролитную борьбу с силами нового киевского правительства.

Зато Запад признал украинское правительство, и в июне 2014 года Евросоюз предоставил Украине, Грузии и Молдове соглашения об ассоциации. Это обострило соперничество между Россией и Западом в Черноморском регионе – соперничество, которое нарастало в течение долгого времени и первоначально, до грузинских и украинских потрясений, было вызвано российско-американской конкуренцией за контроль над каспийскими нефтью и газом.

Движущей силой, которая стоит за всеми этими конфликтами и вспышками напряженности, стал проект президента Владимира Путина возродить Россию как старую добрую “великую державу”, контролирующую внешние отношения своих соседей и требующую страха и уважения со стороны внешнего мира. Однако Запад решил интерпретировать этот проект как программу фактического восстановления зоны влияния бывшего Советского Союза и отвечает на это постоянным распространением своего влияния на востоке, на Черном море, силами НАТО и Европейского союза. И вторжение России в Грузию, и ее вопиющая (но упорно отрицаемая) военная поддержка украинских повстанцев стали реакцией на очевидное расширение этого влияния.

Сегодня ни один европейский или американский лидер не может считать Черное море периферийным. С политической точки зрения оно стало опасной зоной, в которой вырабатываются будущие отношения между Россией с Западом – Европейским союзом, НАТО и США. В экономическом смысле Черное море и Южный Кавказ стали той точкой, в которой Россия и Запад борются за контроль над трубопроводами и маршрутами танкеров, поставляющих нефть и газ из Каспийского региона.

Еще до начала войны на Украине по поводу Черного моря собирали тревожные конференции, разрабатывали “планы действий” и “политику сосуществования”. Большинство этих мер принималось по инициативе Евросоюза или по крайней мере при поддержке с его стороны. Вступление Польши в ЕС в 2004 году означало, что независимая Украина – исторически самая близкая соседка Польши – внезапно стала темой и практически незримым участником любых обсуждений в Брюсселе. А в январе 2007 года два черноморских государства, Румыния и Болгария, стали, как и Польша, полноправными членами ЕС.

После их присоединения Евросоюз насчитывает уже в общей сложности двадцать семь государств. За этим последовал перерыв, в течение которого ЕС, как насытившийся питон, пытался переварить внезапное и огромное расширение, произошедшее после 2004 года. Но в некоторых других отношениях это был горестный период. Мировой финансовый крах 2007–2008 годов расстроил равновесие шаткой, ненадежной архитектуры еврозоны и поставил некоторых недальновидных ее членов на грань разорения. В то же время в течение нескольких лет после присоединения Румынии и Болгарии оказалось, что в этих странах по-прежнему процветают коррупция, нарушения прав человека и мафиозное влияние (клептократия), которые должны были быть устранены до момента их вступления в ЕС в 2007 году.

В свете всего вышеперечисленного становится понятно, почему любое предложение о дальнейшем расширении заставляет европейцев содрогнуться. Именно с этим связаны бесконечные отсрочки в вопросе предоставления полного членства в Евросоюзе еще двум черноморским государствам – Турции и Украине. Еще одним фактором, сдерживающим политику ЕС в отношении Украины и (в особенности) Грузии, стала нерешительность Евросоюза в отношениях с Россией. ЕС стремится наладить эти отношения снова, хочет любви и уважения от Москвы. Но в то же время он, подражая США, осуждает прискорбное состояние гражданских свобод в современной России, вслух порицает интервенцию России в Крыму и Восточной Украине и сетует по поводу “российской оккупации

суверенной территории Грузии” (то есть признания независимости Абхазии и Южной Осетии). Этот конфликт целей парализует “добрососедские” инициативы ЕС в Черноморском регионе.

Когда я начинал писать “Черное море”, Восточная Европа и Западная Евразия переживали апокалиптические времена. Советский Союз развалился, в результате произошел промышленный и финансовый крах почти в каждом углу огромной территории, на которой некогда царила плановая экономика. Каждый черноморский город от Болгарии до Грузии окружило ржавое кольцо заброшенных заводов. В то же время стали вскрываться кладбища истории – угнетенные народы стали повсеместно воскресать из мертвых, чтобы утвердить свою идентичность и свое право на суверенитет. Это они неизменно делали, апеллируя к прошлому, а часто и придумывая его.

Сегодня там наблюдается хаотический, но впечатляющий экономический подъем. В городах снова расцвел малый бизнес; там, где когда-то стояли старые заводы, в огороженных и охраняемых коттеджных поселках живет новый богатый класс, который разросся и стал намного шире, чем прежняя кучка криминальных олигархов.

Сейчас невозможно вернуться к той утерянной тяжелой промышленности, так же как и к тем щедро финансирувавшимся институтам океанографических исследований, которые когда-то усеивали советские берега Черного моря. Тем не менее само море, как и экономика вокруг него, постепенно восстанавливается. В середине 1990-х годов казалось, что загрязнение окружающей среды, истощение рыбных запасов и атака новых инвазивных видов вот-вот разрушат экосистему и приведут к появлению первого в мире безжизненного моря. Однако сегодня, благодаря действиям международного сообщества и непредсказуемым естественным причинам, рыбные запасы снова увеличиваются, а качество воды улучшается.

На берегу до сих пор открываются могилы. Политика идентичности и историческое мифотворчество по-прежнему бурлят по всему региону. Интенсивное брожение происходит в разделенной Украине, но наиболее опасное – на Северном Кавказе, в границах Российской Федерации. Сюда под знамена незавершенной, все более беспощадной борьбы стекаются местные националисты, ведущие крестовый поход ради этнической мести, отряды боевиков, мобилизованные конкурирующими криминальными авторитетами, и

джихадистские террористы-смертники. Иногда жертвами становятся соседние сообщества, иногда – местные политики и чиновники. Но все чаще мишенью становятся русские. Почти каждую неделю появляются новости о террористических актах в российских городах, часто и в самой Москве.

Эти крошечные самоуправляющиеся республики конкурируют между собой не только путем насилия. Конкуренция развивается на культурном, историческом, часто даже археологическом поле. Каждый свирепый маленький горный народ переписывает свой учебник истории как манифест, направленный против соседей: “Мы и только мы принесли вам грамотность и культуру две тысячи лет назад, в наш Золотой век”. Создание таких учебников, каждый из которых пишется на местном языке и по большей части заключает в себе художественный вымысел, представляет собой постоянно растущую профессиональную отрасль для адыгской и осетинской интеллигенции. Российское правительство пошло на огромный риск, приняв зимнюю Олимпиаду 2014 года в Красной Поляне, которая имеет символическое значение как место, где русские войска торжественно отмечали покорение Кавказа 150 лет назад.

На Украине, где на момент написания этих строк по-прежнему идет война, нет согласия ни относительно прошлого, ни относительно будущего. Во время “оранжевой революции” молодые демонстранты кричали: “Мы просто хотим жить в нормальной европейской стране”. Но, что следует понимать под “нормальностью”, украинцам еще только предстоит решить, путем переговоров или с оружием в руках: замешанный на истории “романтический” национализм Западной Украины с его упором на язык и культуру или урбанистическое мировоззрение русскоязычного индустриального востока.

Неглубокие могилы вскрываются и в Грузии. Это не просто проблема “внешних” конфликтов, имеющих националистическое измерение, то есть независимость Абхазии и Южной Осетии. Существует и внутренняя напряженность, поскольку усиливаются трения между центральным правительством в Тбилиси и некоторыми областями, которые населяют “меньшинства”. В частности, армянское меньшинство, сосредоточенное в регионе Джавахети, чувствует культурное и экономическое давление со стороны Тбилиси. Недавние реформы в сфере образования, согласно которым письменные и устные экзамены должны теперь держаться на грузинском языке, были восприняты как дискриминация армянских студентов. Их возмущает, что они должны знать грузинский язык, чтобы получить высшее образование или занять государственную должность.

Все это – часть гораздо более широкой культурной болезни, которая затрагивает не только Кавказ, но и Черноморский регион в целом, за исключением территории Российской Федерации. Русский язык, преподававшийся во всех школах Советского Союза, стал континентальным языком межэтнического общения, повсеместно объединив этническое большинство и меньшинства чем-то вроде общей культуры. Теперь, после распада СССР в 1991 году, преподавание русского языка перестало быть принудительным на постсоветском пространстве и часто вообще не входит в школьную программу. Молодые армяне, грузины или абхазы, которые во время распада Советского Союза были в лучшем случае младенцами, не могут общаться со своими соседями так, как это делали их русскоговорящие родители. В их распоряжении только собственные языки и, возможно, несколько фраз на американском английском. В эпоху политики идентичности эта утрата всеобщего языка – духовное увечье и дурное предзнаменование.

В книге я провожу мысль о том, что Черное море – его народы и прибрежные регионы, его рыба, его воды и его безмерно глубокая история – это единый культурный ландшафт. Ни одна часть этого ландшафта не имеет смысла в отрыве от других. Однако самая существенная особенность Черного моря состоит в непрерывном изменении всех его частей. Это место никогда не было застывшим, “вечным”. Его народы находились в движении по крайней мере пять тысяч лет. И точно так же, в состоянии непрерывной адаптации, жили и существа, населяющие воды Черного моря, так как климат и речные потоки колеблются, а чужеродные виды вторгаются в море и разрушают один естественный баланс за другим. За годы, прошедшие с момента написания этой книги, внутри и вокруг Черного моря продолжались человеческая миграция и экологические изменения, которых не предвидели ни политики, ни биологи, ни писатели.

Нил Ашерсон, июнь 2015 года

Введение

Я должен признаться, что я могу с таким же увлечением читать <...>, как и пересыпать в ладонях морской песок, отдыхая при этом всем существом и

чувствуя, как ветер время от времени ласково похлопывает меня своими прохладными, сырыми ладонями по щекам. Он как бы радуется, что на пустынном пляже – вплоть до туманно-синеватых мысов, как бы сосущих на горизонте, как медведи, морскую воду, – нет ни одного человека, кроме меня.

Пусть весь день на береговых обрывах шелестит твердая трава. Этот нежный шелест – необъятно старый – слышится на этих побережьях из века в век и приобщает нас к мудрости и простоте.

Константин Паустовский/ Время больших ожиданий

В те [гомеровские] времена это море было недоступно для плавания и называлось Аксинским [то есть “негостеприимным”] из-за зимних бурь и дикости окрестных племен, особенно скифов, так как последние приносили в жертву чужестранцев, поедали их мясо, а черепа употребляли вместо кубков. Впоследствии, после основания ионянами городов на побережье, это море было названо Евксинским [“гостеприимным”].

Страбон/ География[1 - Перевод Г. А. Стратановского.]

В один прекрасный день в начале 1680 года молодой итальянец по имени Луиджи Фердинандо Марсильи стоял на палубе корабля, бросившего якорь посередине Босфора, и опускал за борт бечевку с грузом.

Все мореплаватели с незапамятных времен знали, что в Черном море берет начало течение, которое ведет через Босфор на запад, проходя насквозь Мраморное море и пролив Дарданеллы и заканчиваясь в Средиземном море. В III в. до н. э. Аполлоний Родосский поведал о том, как Ясон и аргонавты с трудом вели свое судно на восток против течения, чтобы достичь Черного моря через “Босфор водоворотный”, где: “Наподобье скалы высокой вздымается кверху / Перед тобою волна, на тебя словно броситься хочет, / Вздыбившись до облаков <...> волна нависает / Над серединой ладьи”[2 - Аполлоний Родосский. Аргонавтика / Пер. Г. Ф. Церетели.]. То же течение тащило теперь к далекому Средиземному морю корабль Марсильи, рвущийся с якоря.

Марсильи привязал к бечевке через равные промежутки белые пробковые поплавки. Поначалу, разматывая бечеву, он видел, как поплавки движутся назад, к корме, медленно относимые течением из Черного моря. Но затем,

пристально вглядываясь через борт, Марсильи увидел именно то, что надеялся увидеть.

Нижние поплавки, мерцающие глубоко под водой, начали обратное движение. Очень медленно, один за другим, они меняли направление, пока не оказались под носом корабля; вся бечева с грузом приняла форму дуги, стремясь на запад около поверхности, а затем на большей глубине округло изгибаясь, чтобы указать на восток. Теперь он знал: в Босфорском проливе было два течения, а не одно. Было верхнее течение, но было и другое – более глубокое – противоположное течение из Средиземного моря в Черное.

Марсильи исполнился всего 21 год, впереди у него была долгая жизнь, плодотворная и полная приключений. Он ненадолго попал в плен к татарам под Веной, служил офицером в армии Габсбургов на Дунае, а позднее основал первый европейский океанографический научно-исследовательский центр в Кассисе, Южная Франция. Но ни одно из его позднейших достижений не имело такого значения, как открытие подводного течения в Босфоре. В отношении методологии и последствий оно стало вехой в новой науке о море. Кроме того, оно стало первым шагом в изучении Черного моря как такового: не как кольца берегов, населенных какими-то странными людьми, а как водоема.

Почти в каждом открытии есть элемент эффектной подачи. Подводное течение (Corrente Sottano, как назвал его Марсильи) уже было известно тем, кто добывал себе пропитание в водах Босфора, и Марсильи благородно это признал. В первом отчете о своем достижении он писал: “Своими догадками я обязан не только собственным размышлениям, но и отчетам многих турецких рыбаков и прежде всего убеждениям сеньора кавалера Финча [сэра Джона Финча], посла Его Величества короля Англии в Порте и великого естествоиспытателя: ему первому открыл эту мысль капитан одного из его судов, который сам не мог прийти к какому-либо определенным выводам путем эксперимента, вероятно, за неимением времени”.

Настоящую славу Марсильи принес способ, которым он выполнил и подтвердил свой первоначальный эксперимент. Измерив глубину лотом, он взял пробы воды на разной глубине и смог показать, что вода глубинного течения более плотная и соленая, чем в верхнем течении, бегущем из Черного моря. Затем он сконструировал демонстрационный прибор: резервуар для воды, разделенный по вертикали и наполненный с одной стороны подкрашенной морской водой с большим содержанием соли, а с другой – водой менее соленой. Открывая люк в

перегородке резервуара, он давал двум образцам смешаться, пока подкрашенная морская вода не образовывала видимый слой на дне. Попутно Марсильи, не совсем понимая значения своего открытия, обнаружил один из основных фактов океанографии: течения эти порождает не гравитация, как, например, течение рек, а другие силы, в том числе принципы механики жидкости, в данном случае – гидравлический градиент. Движение более тяжелой средиземноморской воды в Черное море выталкивало более легкую воду в противоположном направлении.

Вслед за Марсильи и другие ученые, по большей части русские, начали изучать диковинную и труднопостижимую природу Черного моря. Марсильи показал, что вода в нем менее соленая и плотная, чем средиземноморская, и разрешил загадку, отчего береговой уровень воды не падает, невзирая на ее отток через Босфор. Но только гораздо позднее другим удалось обнаружить то главное свойство Черного моря, которое отличает его от всех прочих морей: оно почти целиком мертво.

На страницах атласа Черное море выглядит как водоем в форме человеческой почки, соединенный с внешними океанами тонкими, как нить, проливами Босфор и Дарданеллы. И все же это море, а не пресноводное озеро: соленая водная масса шириной около 1150 км с востока на запад и 580 км с севера на юг, за исключением “талии”, где выступающий полуостров Крым сужает расстояние между крымским побережьем и Турцией до 300 км. Черное море глубоко, местами его глубина достигает более 2200 м. Но на северо-восточном его окончании есть широкий мелководный шельф у того участка побережья, который тянется по кругу с запада на север, от дельты Дуная в Румынии до Крыма. Этот шельф, менее ста метров глубиной, был нерестилищем для многих видов черноморских рыб.

Если путешествовать по часовой стрелке вокруг моря, начиная от Босфора, видно, что болгарское и румынское побережье лежит низко, как и большая часть украинской береговой линии. Далее возвышаются утесы Крымских гор. Восточное и южное побережье (Абхазия, Грузия и Турция) в основном гористое, кое-где оно окаймлено узкой прибрежной равниной, а кое-где – например, в Северо-Восточной Турции – круто спускается к Черному морю лесистыми горными кряжами и ущельями.

Но главное, что определяет Черное море, – это реки. В Средиземное море, гораздо большее по размеру, впадает всего три реки: Рона, Нил и По. Черное море принимает пять: Кубань, Дон, Днепр, Днестр и, прежде всего, Дунай, чей бассейн тянется через всю Восточную и Центральную Европу, почти достигая границ Франции. Один только Дунай вливает в Черное море по 203 куб. км пресной воды в год: это больше, чем все реки, впадающие в Северное море.

Именно эти реки, богатейший источник жизни, за десятки тысяч лет истребили жизнь в глубинах Черного моря. Приток речной органики был слишком силен для морских бактерий, которые обычно ее разлагают. Бактерии питаются, окисляя питательные вещества, и для этого используют растворенный кислород, как правило, присутствующий в морской воде. Но когда поступление органики так велико, что запас растворенного кислорода истощается, бактерии прибегают к другому биохимическому процессу: они изымают кислород из ионов серы, которые входят в состав морской воды, при этом выделяется остаточный газ – сероводород, или H₂S.

S.

Это одно из самых смертоносных веществ в природе. Одного вдоха чистого сероводорода достаточно, чтобы убить человека. Об этом хорошо знают нефтяники, которые спасаются бегством, как только почувствуют вонь тухлого яйца. И правильно делают: сероводород почти мгновенно уничтожает обоняние, поэтому после первого вдоха уже невозможно понять, продолжаешь ли ты его вдыхать.

Черное море представляет собой самую большую в мире залежь сероводорода. На глубине ниже 150–200 метров в нем нет жизни. Вода там аноксична, то есть не содержит растворенного кислорода, и насыщена H₂S.

S; поскольку Черное море по большей части глубоко, это значит, что на 90 процентов своего объема оно стерильно. Это не единственное место в океане, где скапливается сероводород: аноксичные зоны есть на дне Балтийского моря и некоторых норвежских фьордов, в которых слаба циркуляция воды. У побережья Перу сероводород иногда поднимается, вскипая, из глубины на поверхность: в ходе этого периодического стихийного бедствия под названием “эль-ниньо” он убивает всю экосистему, уничтожая прибрежный рыбный промысел и вступая в

реакцию с краской на днищах кораблей, которые от этого чернеют (так называемый эффект Callao Painter). Однако глубины Черного моря – самый большой массив безжизненной воды в мире.

И тем не менее до последнего Черное море казалось людям источником почти чудовищного изобилия. Ядовитая тьма лежала глубоко внизу, неведомая никому. Выше сотой изобаты – галоклина (то есть скачка солености) или нижней границы кислородной зоны – море кипело жизнью. Лосось и гигантский осетр – белуга, которая может достигать длины и веса маленького кита, – так и кишели в больших реках, где они нерестились: икра водилась в таком изобилии, что в Византии XIV века она была пищей бедняков[3 - Как пишет профессор Петер Шрайнер из Кёльна, специалист по питанию в Византии, сельскохозяйственный рабочий со средним заработком мог заработать на 45-килограммовую бочку икры всего за 15 дней. Профессор Шрайнер отмечает, что сегодняшнему немецкому сельскохозяйственному рабочему пришлось бы потратить на такую бочку весь свой заработок за 18 месяцев.]. Вдоль берегов и на северо-западном мелководном шельфе Черного моря водились камбала, шпроты, бычки, скаты, кефаль и хек, большинство из них питалось подводными зарослями морской травы – зостеры[4 - Иначе взморника. – Прим. пер.].

На другом конце полуострова Крым, в далеком северо-восточном углу Черного моря, находится Азовское море, похожее на него в миниатюре и так же соединенное с более крупным водоемом узким каналом – Керченским проливом. В этом маленьком море, мелком и со всех сторон окруженном сушей, на протяжении всех 200 км от Керченского пролива до болотистого устья Дона когда-то обитало более ста видов рыб. Во время каждого разлива дельта Дона затопляет километры камыша и солончаков, создавая нерестилище для жирной речной рыбы, которую можно было ловить возами. Миллионы морских рыб, мигрирующих в места нереста, устремлялись через Босфор к Стамбулу или через Керченский пролив в Азовское море. Рыбная ловля не требовала больших усилий: достаточно было высунуть сачок в окно, выходящее на море. Страбон писал, что в бухте Золотой Рог (залив Босфора, доходящий до стен Стамбула) пеламиду можно было вытаскивать из воды голыми руками.

А в открытом море, между стаями дельфинов и морских свиней, два вида рыб медленно мигрировали по кругу, и движение их было регулярным, как расписание отправления кораблей. Одним из этих видов была бонито (пеламида), рыба из семейства скумбриевых, которая имела такое промысловое значение, что ее изображение мы находим на византийских монетах. Другим

видом была хамса, или черноморский анчоус.

Горстка хамсы, оставшаяся от прежних полчищ, по сей день мечет икру в Одесском заливе весь июль и большую часть августа и отправляется по своему обычному маршруту, пролегающему вокруг моря против часовой стрелки, в период между последней неделей августа и началом сентября. Преодолевая примерно 20 км в день, косяки хамсы, биомасса которых даже сегодня достигает 20 000 тонн каждый, минуют дельту Дуная, движутся вдоль берегов Румынии и Болгарии, а затем поворачивают на восток вдоль анатолийского побережья Турции. В первых числах ноября косяки находятся на полпути между Стамбулом и Синопом, который расположен в нескольких сотнях километров к востоку от него. К тому времени, когда рыба входит в промысловую зону города Трабзон (Трапезунд), она уже выросла, набрала вес и движется медленнее, более кучно. Наконец, к январю хамса оказывается у юго-восточной оконечности Черного моря, примерно в районе Батуми, и там разделяется: часть направляется к северу вдоль берегов Грузии и Абхазии, обратно к своей отправной точке, часть возвращается к Синопу и оттуда срезает путь напрямую через центральную часть Черного моря в Одесский залив. По одной из оценок биомассы хамсы, сделанной до катастрофического перелома 1980-х, который поставил многие виды на грань исчезновения, такое ежегодное круговое паломничество совершал приблизительно миллион тонн хамсы.

Черное море обязано своей историей рыбе. Были, разумеется, и другие факторы, то есть другие богатые источники пропитания и процветания. Например, равнины Южной России, так называемые черноморские степи, которые тянутся почти на полторы тысячи километров от Волги до подножия Карпатских гор на западе, – полоса открытой местности шириной примерно в 300 км, простирающаяся между морским побережьем и лесистой местностью на севере. Пастбища черноморских степей могли прокормить лошадей и скот целого кочевого народа; позднее лучшие их земли были возделаны и родили пшеницу, лучше которой мир не знал до колонизации Северной Америки. В горах Кавказа, чьи заснеженные вершины были видны издали из открытого моря, были и лес, и золото. В дельтах рек гнездились съедобные птицы, во время миграции все небо было черно от их стай. Но среди всего этого, с виду бесконечного изобилия жизни рыба играла главную роль.

Плавание “Арго” – легенда бронзового века. Когда Ясон пересек Черное море, направил свой корабль вверх по реке Фазис в Колхиду (часть современной Грузии) и пришвартовался к прибрежным деревьям, он хотел добыть волшебное

сокровище – золотое руно Колхиды. Но золото – удел героев. Вдоль всего Черного моря прибрежные землечерпалки поднимают с морского дна большие камни с отверстиями: якоря микенских кораблей. На них путешествовали в бронзовом веке реальные искатели приключений, которые везли с собой из Эгейского моря товары – предметы роскоши, например расписную керамику и богато отделанные мечи. Но главная их цель была в том, чтобы привезти домой еду, и увозили они, по всей видимости, в основном вяленую и соленую рыбу из дельт Днепра и Дуная. Когда микенские царства пали и на смену им пришли маленькие, голодные города-государства, ютившиеся на греческих и ионийских мысах, корабли вернулись в Черное море за той же нуждой, которая становилась все отчаяннее, по мере того как население городов-государств росло, а их скудные пахотные земли истощались из-за чрезмерной эксплуатации. К VII в. до н. э. ионийские греки основали прибрежные колонии вокруг всего Черного моря, и основным занятием этих поселений были заготовка, консервирование и экспорт рыбы.

Удовлетворение этой простой потребности неожиданно привело к одному из определяющих моментов в истории человечества. Значение его состояло не только в том, что оседлый, грамотный народ встретился с пастухами-кочевниками – это случалось и раньше, и впоследствии. Он был важен потому, что грамотный народ, размышляя об этой встрече, вынес из первого в памяти Европы “колониального” столкновения ряд сомнений и споров, которые мы ведем по сей день.

Один из таких споров касается “цивилизации” и “варварства”. Второй посвящен культурной идентичности, ее отличительным признакам и границам. Третий, глубоко самокритичный дискурс подразумевает, что высокое техническое и социальное развитие влечет за собой не только выгоду, но и потерю – отклонение сознательного и рационального поведения от такого, которое можно назвать естественным и спонтанным.

Все эти три темы, поднятые столкновением культур в Черном море, обсуждались в классическом мире. Они отошли на задний план после распада Западной Римской империи в VI–VII веках, но в ранний период Нового времени снова возникли в европейском сознании, становясь постоянно все более актуальными из-за столкновений с обеими Америками, Африкой и Азией, а еще позднее – из-за набирающей силу идеологии национализма. Однако на самом Черном море подобные проблемы не столько обсуждались, сколько переживались. Вокруг сушильных сит и коптилен для рыбы сложились типичные модели этнического и

социального смешения, которые полностью не исчезли до сих пор.

Во вступлении к своей знаменитой книге “Эллинизм и иранство на юге России” русский историк Михаил Ростовцев писал: “Я сделал своей отправной точкой тот регион, который мы называем Южной Россией: в этой обширной области страны пересекались различные влияния – восточные и южные влияния, приходившие с Кавказа и Черного моря, греческие влияния, распространявшиеся морскими путями, и западные влияния, которые спускались по течению великого Дуная, – и вследствие этого там время от времени образовывались смешанные цивилизации, очень самобытные и очень интересные”.

Однако эти “очень самобытные и очень интересные сообщества” возникали не только у северного побережья Черного моря и не только в классический период. Город Bizантий (будущий Константинополь и в конце концов Стамбул) представлял собой подобное образование на протяжении Средних веков и далее, вплоть до падения Османской империи в XX веке. Такова же была в Средневековье империя Великих Комнинов в Трапезунде (на южном побережье Черного моря), такова же была в XIX веке Констанца у дельты Дуная и такова же была Одесса, основанная на украинском побережье только в 1794 году. В меньшем масштабе это относится и к таким городам, как Сухуми, Поти и Батуми, которые возникли как греческие колонии в той части побережья, которое некогда было Колхидой и где до конца советского периода уживались вместе люди разных вероисповеданий, ремесел и происхождения, говорившие на множестве разных языков.

Самобытность этих мест заключалась в том, что власть в них не была централизованной, а была растворена в разных сообществах, как кислород в верхних, теплых слоях морской воды. Титул верховного правителя мог принадлежать человеку, ведущему свой род от степных кочевников-пастухов, тюркских, иранских или монгольских. Местное управление и экономика могли быть оставлены на усмотрение греческих, еврейских, итальянских или армянских купцов. Солдатами (армии обычно бывали наемными) могли быть скифы или сарматы, кавказцы или готы, викинги или англосаксы, французы, немцы. У ремесленников (а ими часто бывали местные жители, перенявшие у греков их язык и обычаи) были свои права. Бесправными были только рабы, которых держали и которыми торговали в большинстве этих мест на протяжении большей части их истории.

Город Судак на крымском побережье был сперва греческой, затем византийской и наконец генуэзской колонией. Теперь там сохранились только стены и башни средневековой итальянской крепости – высоко на пологой стороне берегового утеса у западной оконечности мыса Меганом. Там мне показали раскопанную среди византийских фундаментов каменную гробницу, в которой находилось тело хазарского аристократа.

Хазары были тюркоязычными кочевниками-пастухами, которые пришли из Средней Азии в VIII и IX веках и основали свою “империю” на северном побережье Черного моря, включая и полуостров Крым. Хотя святой Кирилл предлагал им обратиться в христианство, хазарам больше пришлось по душе одна из форм иудаизма. Так и получилось, что этот конкретный воин, родом из шаманской Азии, предпочел для себя погребение по иудейскому обряду в городе, которым правили греческие христиане. Был в этих похоронах и особый штрих, не имевший отношения ни к христианству, ни к иудаизму: они завершались человеческим жертвоприношением, и жертву, обезглавленную ударом топора, бросали в могилу бок о бок с ее хазарским хозяином.

Народы, живущие в тесном общении сотню или тысячу лет, не всегда нравятся друг другу: на самом деле, они могут все это время друг друга ненавидеть. А как конкретные люди “другие” – не чужаки, а соседи, часто и друзья. Изучая жизнь на Черном море, я с грустью убедился в том, что подспудное недоверие между разными культурами неизменно. Нужда, а иногда и страх связывают такие сообщества воедино, но изнутри такое объединение так и остается набором разнородных человеческих групп, а вовсе не представляет собой образцовую модель “мультиэтнического общества” нашей мечты. Верно и то, что коллективная жестокость – погромы, “этнические чистки” во имя фантазии о национальном единстве, геноцид – обычно приходила в черноморские поселения откуда-то извне, как чуждое влияние. Но уж когда она приходит, мнимое вековое единство может рассеяться за дни и часы. Достаточно одного вдоха, чтобы впитать яд, поднимающийся из глубин.

Эти земли принадлежат всем народам, которые их населяют, и в то же время не принадлежат никому из них. На черноморском побережье, как на конечной морене ледника, отложения человеческих миграций накапливались более четырех тысяч лет. Сам берег, выветренный и тихий, говорит о терпении камня, песка и воды, которые повидали много человеческой суеты и переживут ее. Этот голос слышали многие писатели – среди прочих Пушкин и Мицкевич, Лермонтов

и Толстой, Анна Ахматова и Осип Мандельштам, – умевшие прислушаться к тихому звучанию и огромному безмолвию Черного моря и соизмерить себя с геологической протяженностью времени. Они на мгновение вышли за пределы собственной жизни, полной опасностей, и приобщились, по словам Константина Паустовского, “к мудрости и простоте”.

Эта книга о Черном море начинается с Крыма. Для этого у меня есть как уважительные причины, так и причины личного свойства. Крымский полуостров был чем-то вроде подмостков, своеобразной авансценой событий, важных для всего Черноморского региона и населявших его народов. Греки сделали Крым центром своей торговой империи, тысячелетием позже так же поступили итальянцы; здесь в XIX веке разразилась Крымская война, а в XX совершались иные из самых чудовищных преступлений Гитлера и Сталина. Ялтинская конференция, которая прошла на южном конце полуострова в 1945 году, стала кодовым названием раздела Европы во время холодной войны.

Но я начинаю с Крыма еще и потому, что по чистой случайности именно там я впервые увидел Черное море. Ну и, наконец, если любому ребенку показать карту Черного моря, он первым делом инстинктивно ткнет пальцем в эту подвеску, в этот забавный коричневый ярлык, который так грубо наклеен на ровный голубой овал.

От Крыма эта книга отправится во многих направлениях. Это не путеводитель, и я не совершаю в ней кругосветное плавание; например, Турции, Болгарии и Румынии уделено меньше внимания, чем они того заслуживают. Но тот интеллектуальный след, по которому я шел, вел прочь от этих стран – на противоположный край Европы, на север и восток. От Крыма исследование варварства привело меня в Ольвию возле устья Днепра, а оттуда, перепрыгивая через Крым, обратно, к руинам Танаиса и Таны, в дельту реки Дон. Вскоре этот след уперся в загадки национализма и идентичности со всеми их бесстыдными играми теней и зеркальных отражений и со всей их невероятной созидательной силой.

Однако затем след разделился. Одна тропинка повела к казацкому населению Южной России и Украины, в Одессу и в Польшу, другая свернула, и я оказался в Северо-Восточной Турции, где когда-то жили понтийские греки и по сей день живет крошечная народность лазов. Приведя меня в Керчь для изучения Боспорского царства классических времен, маршрут снова разветвился на два

исследования: одно посвящено подлинным историческим сарматам, которые правили в этом регионе на протяжении нескольких веков до и после Рождества Христова, другое – вымышленным, сказочным сарматам, которых национальное воображение поляков назначило отцами-основателями Польши. Однако завершил я свое путешествие в месте отнюдь не воображаемом: в самом молодом из всех черноморских государств – крошечной Абхазии, которая отделилась от Грузии только в 1992 году. Там я попытался соотнести реальность или нереальность абхазской независимости со всем тем, что усвоил по пути к этому моменту.

И пролог, и эпилог этого путешествия разворачиваются на Босфоре. Между ними лежит Черное море – не только тема, но и главный герой этой книги. У Черного моря есть собственный характер, который не передают прилагательные вроде “непредсказуемое” или фразы вроде “приветливо к чужакам”, поскольку характер этот складывается не из отдельных черт или эпитетов, а из взаимодействия разных обстоятельств, он вообще не поддается точному описанию. В числе этих обстоятельств, вкуче составляющих самобытность Черного моря, – рыба и вода, ветры и трава, скалы и леса, перелетные птицы и человеческая миграция. Это не просто место, а определенная модель взаимоотношений, которая не могла бы сложиться нигде больше: именно поэтому черноморская история – это прежде всего история Черного моря.

Глава первая

Смерть современных форм гражданственности скорее должна радовать, нежели тяготить душу. Но страшно то, что отходящий мир оставляет не наследника, а беременную вдову. Между смертью одного и рождением другого утечет много воды, пройдет длинная ночь хаоса и запустения.

Александр Герцен. С того берега

На Черном море мой отец видел ее начало, и там же, на Черном море, семьдесят лет спустя я видел начало ее конца.

Русская революция одержала окончательную победу над своими врагами в Новороссийске, в марте 1922 года, когда британские линкоры вышли в море,

увозя на своих палубах разбитую белую армию генерала Деникина. На одном из них был мой отец – мичман, мальчик восемнадцати лет, который и тогда, и всю последующую жизнь понимал значение того, чему он стал свидетелем.

Постепенно революция исчерпала себя, так же, как это произошло в прежние века с английской и французской революциями, и к лету 1991 года она была уже дряхлой и немощной. Многие считают, что к тому времени революция была давно уже мертва, что она погибла, когда Ленин привел партию большевиков на смену прямой власти рабочих или когда Сталин начал свое экономическое ускорение с террора в 1928 году. Но мне кажется, что и в то время, когда Михаил Горбачев сидел в Кремле и мечтал о чистом, передовом ленинизме, который мог бы преобразовать Советский Союз в социалистическую демократию, на пепелище еще тлели последние угольки. Летом 1991 года эти угольки внезапно и окончательно разворошили, и огонь угас. Русская революция – не как проект, а как феномен, образ, начерченный на бумаге времени, – была завершена.

О конце ее мне просигналил огонек в крымской темноте, огонек, значения которого в тот момент я не понял, а осознал лишь в последовавшие за тем дни и месяцы. Он блеснул передо мной всего на несколько секунд, не дольше. Я увидел его через окно автобуса, возвращаясь по горному шоссе из Севастополя в Ялту после долгого дня, проведенного на греческих руинах Херсонеса. Из всех пассажиров я один бодрствовал. Вокруг меня спали итальянские, французские, каталонские и американские ученые, слегка покачиваясь на сиденьях, когда автобус начал карабкаться вверх по туннелю, который насквозь прорезает горную гряду над мысом Сарыч. Луна скрылась. Черное море было невидимо, но белая стена гор по-прежнему блестела в вышине слева от нас. Где-то под нами лежал маленький санаторий Форос, где Михаил Сергеевич Горбачев со своей семьей проводил летний отпуск на государственной даче, которую держали исключительно для нужд Генерального секретаря ЦК КПСС.

У съезда на Форос беспорядочно мелькали огни. На перекрестке ждала машина скорой помощи – голубая мигалка на крыше была включена и фары горели. Однако поблизости не было видно никакой аварии – ни разбитых машин, ни пострадавших. Проносясь мимо, я на секунду увидел стоявших в ожидании людей. Когда темнота снова сгустилась, я некоторое время гадал, что произошло. Стояла ночь на 19 августа 1991 года.

То, что я видел, было сигнальным огнем заговорщиков, искрой, которую несли сквозь ночь люди, считавшие, что они оживляют революцию и спасают Советский Союз. Вместо этого они запалили огонь, который уничтожил все, что они почитали. Пятью месяцами позже Коммунистическая партия Советского Союза – “партия Ленина” – была упразднена, Союз Советских Социалистических Республик распался, и даже царская континентальная империя, лежавшая в основе Советского Союза, съежилась до размеров России и сохранила всего несколько километров побережья – маленькие окна на Балтийское и Черное море. Поначалу, после того как заговорщики арестовали Горбачева в Форосе, казалось, что пламя заговора горит высоко и ярко, а перепуганная страна хранила молчание. Но затем какая-то горстка мужчин и женщин собралась на улицах Москвы и Ленинграда и с голыми руками пошла против танков. Они обратили пламя обратно на заговорщиков, и в конце концов оно пожрало не только путчистов, но и все обветшавшие дворцы, тюрьмы и крепости революции, стоявшие за ними.

На следующее утро в Ялте весь гостиничный персонал, водитель автобуса и украинский переводчик нас избегали. Телевизор в вестибюле гостиницы, еще вчера исправный, теперь не работал.

Мы в замешательстве погрузились в автобус, чтобы съездить в Бахчисарай, древнюю столицу крымских татар, и по дороге, через несколько километров, наши гиды сообщили нам новость. Господин Горбачев внезапно заболел. Его полномочия взял на себя новообразованный Государственный комитет по чрезвычайному положению, в который вошли вице-президент Геннадий Янаев, председатель КГБ Владимир Крючков и министр обороны генерал Дмитрий Язов. Было выпущено официальное обращение, в котором подчеркивались определенные ошибки и искажения, допущенные в ходе перестройки. Гиды считали, что чрезвычайное положение действительно наступило – если не на Украине (которой принадлежал Крым), то по крайней мере в РСФСР.

Тогда-то я и вспомнил машину скорой помощи, дежурившую на перекрестке в Форосе, и стоявших возле нее людей. Болезнь? Никто из нас в это не верил. Но каждый человек в автобусе и каждый, кого мы позже встречали в тот день, верил в силу произошедшего и почтительно склонялся перед этой силой, независимо от того, какие чувства испытывал по этому поводу сам. Период свободы – эта робкая попытка открытости и демократии под названием “гласность” – закончился. Никто в Крыму – ни чиновники в административном

центре Симферополе, ни толпы отпускников в Ялте, отправлявшиеся в свое ежеутреннее паломничество на галечные пляжи, – не предполагал, что государственный переворот может обратиться вспять или встретить сопротивление. Крымские газеты печатали только бессвязные прокламации ГКЧП, без комментариев. В автобусе радио рядом с водителем тоже не работало.

Я уселся поудобнее и задумался. Закроют ли аэропорты? Мы были делегатами Международного конгресса византинистов, который только что прошел в Москве, и теперь завершали экскурсию по историческим достопримечательностям Крыма, устроенную для нас после конгресса. Самую большую группу в автобусе составляли геноуэзцы – историки, архивисты и журналисты. Они приехали вместе со своими семьями, чтобы осмотреть стоящие вдоль северного побережья Черного моря руины средневековой торговой империи, некогда принадлежавшей их городу. Теперь они оживились и шумно загалдели. Им казалось, что, переживая настоящий варварский бунт на краю изданного мира, они на другой лад следуют по стопам своих предков.

Автобус катил через маленький приморский курорт Алушту, а потом повернул вглубь от моря к горному перевалу, ведущему в Симферополь. Я попытался представить себе панику во внешнем мире, отмененные ланчи и экстренные совещания НАТО в Брюсселе, торжественные толпы, которые соберутся в столицах стран Балтии, чтобы с песнями и кольями противостоять возвращающимся советским танкам. Возможно, думал я, будет несколько демонстраций в русских городах; может быть, какие-нибудь самоотверженные мальчики попробуют устроить самосожжение на Красной площади. Но путч – как применение силы – казался мне бесповоротным. Я видел нечто подобное десятью годами раньше, в 1981-м, когда военное положение было объявлено в коммунистической Польше. Тот удар оказался непреодолимым, и я был уверен, что этот будет таким же.

В те дни, летом 1991 года, Советский Союз еще отбрасывал тень на всю Северную Евразию, от Тихого океана до Балтийского моря. Внешний мир все еще почти слепо верил в реформаторский гений Михаила Горбачева, и мало кто из иностранцев тогда понимал, или даже хотел понять, что амбициозный горбачевский план структурных преобразований под названием “перестройка” окончился ничем. Они не могли осознать, что личная приверженность ему среди правящей олигархии Советского Союза иссякла за предыдущий год, что Коммунистическая партия – единственный действующий орган исполнительной власти в стране – отказывалась теперь поддерживать дальнейшие политические

изменения, которые уничтожали ее собственную монополию на власть, что военное и милицейское руководство перестало подчиняться приказам и начало действовать по собственной инициативе и что русский народ больше не питал к Горбачеву ни любви, ни даже уважения.

Только потому, что я провел предыдущую неделю в разговорах с русскими друзьями и иностранными журналистами в Москве, я начал понимать, насколько серьезен был провал Горбачева. Фаза реформированного, либерального коммунизма закончилась, иллюзия, что либеральную демократию и рыночную экономику можно просто ввести указом Кремля, потерпела крах. Но в то же время я знал, что этот московский путч ничего не решит. Конечно, путь вперед был прегражден. Однако обратный путь, который предлагали Геннадий Янаев и его товарищи-заговорщики – возвращение к милицейскому произволу и имперским завоеваниям – тоже вел в никуда. В долгосрочной перспективе заговорщики только обеспечили даже более резкое погружение Советского государства в хаос и упадок. Но в краткосрочной перспективе, я был убежден, они преуспели и добились всеобщего повиновения.

Во дворце татарских ханов в Бахчисарае – нелюбимом и поблекшем – я поймал взгляд русской женщины, сопровождавшей группу студенток. “Сегодня утром у меня было две мысли, – произнесла она. – Первая о сыне, он у меня в Германии: теперь я, наверное, его больше никогда не увижу. Вторая о том, что в магазинах нету водки, так что даже забыться не получится. Вы из Англии? Пожалуйста, можно мы экспортируем к вам часть наших фашистов, у нас их перебор”.

Рядом с нами фонтан ронял резным мраморным глазом слезы холодной родниковой воды, оплакивая рабыню, которая умерла, прежде чем смогла полюбить татарского хана. Александр Пушкин, тронутый этой легендой, первым бросил розу в чашу фонтана, и свежие розы сих пор плавают там для туристов. Все русские вокруг нас неловко отводили глаза. Они не понимали нашей речи, но в ее интонациях они узнавали опасность. В то утро с выпуском новостей по радио для них закончились каникулы и вернулось время осторожности. Только студентки разглядывали нас своими круглыми голубыми глазами, склонив голову набок, равнодушно, как птицы.

Крым – это большой коричневый бриллиант. Он связан с материком только несколькими нитками перешейка и песчаной косы, земляной насыпью естественного происхождения у Перекопа на западе и заболоченными дорогами через лиманы-солончаки мелководного залива Сиваш на севере и на востоке.

Исторически Крым делится на три зоны: разум, тело и душу.

Зона разума – это берег: цепь колониальных поселений и портовых городов по кромке Черного моря. Почти три тысячелетия, прерываемые огнем и невежеством, люди в этих городах вели бухгалтерию, читали и писали книги, с помощью геометрии претворяли в жизнь градостроительные планы, обсуждали литературные и политические новости из далеких мегаполисов, сажали друг друга в тюрьму, выделяли землю под строительство храмов взаимно враждующих культов, вносили авансом платежи за рабов, заказанных на будущий год.

Ионийские греки добрались до этого берега где-то в VIII веке до н. э. и основали под его крутыми лесистыми мысами торговые поселения, которые очень напоминали европейские фактории, возникшие на Гвинейском побережье Африки двумя тысячелетиями позже, и из которых выросли города с каменными стенами, а затем портовые города. Римская и Византийская империи унаследовали эти прибрежные колонии. Затем, в Средние века, венецианцы и генуэзцы с позволения поздних византийских императоров вдохнули в эту зону разума новую жизнь, расширили черноморскую торговлю и основали новые города.

В начале XIII века Чингисхан объединил монгольские племена Восточной и Центральной Азии и повел их на завоевание мира. Китай пал, и монгольская конница поскакала дальше на запад, чтобы за следующие несколько лет покорить не только города Центральной Азии, но и те земли, на которых сейчас находятся Афганистан, Кашмир и Иран. Только в 1240–1241 годах, спустя десять лет после смерти Чингисхана, монголы под предводительством Батыя достигли России и Восточной Европы (где их ошибочно именовали татарами, смешав с другим, некогда могущественным племенем Центральной Азии, которое Чингисхан истребил). Конница Батыя не предприняла сколько-нибудь серьезной попытки закрепить свои завоевания и впоследствии ушла из Восточной и Центральной Европы назад и осела на Волге. Там Золотая Орда, как стала называться эта западная часть татаро-монгольской империи, просуществовала три столетия после смерти Батыя в 1255 году. Из своей столицы на Волге Орда контролировала и степи к северу от Черного моря, и Крымский полуостров.

Было время, когда Орда жгла и грабила города на крымском побережье. Однако вместе с тем присутствие монголов принесло этим городам большое богатство. Теперь во всей евразийской степи, от китайской границы на востоке до

территории современной Венгрии на западе, царило единоначалие. С установлением стабильности в степях стала возможна торговля на дальние расстояния. Возник торговый (так называемый Великий шелковый) путь, который вел по суше из Китая к Черному морю, а оттуда, по воде, в Средиземноморье. Одна дорога вела на запад по низовьям Волги и заканчивалась у венецианской колонии Тана на Азовском море, а позже, в XV веке, открылся еще один шелковый путь, соединявший персидские провинции татаро-монгольской империи с Трапезундом на Черном море.

Конец всей этой трансконтинентальной коммерции был положен после 1453 года, когда турки, наконец, захватили Константинополь и уничтожили то, что оставалось к этому времени от Византийской империи вокруг Черного моря, закрытого отныне для западных путешественников. Города на побережье были по большей части заброшены, а развалины их покрылись сухой красной землей и поросли лиловыми травами крымской степи. Берег Крыма начал оживать снова только в XVIII веке, когда Российская империя достигла Черного моря, и его возрождение выразилось в появлении новых разнообразных городских образований. Древний Херсонес был отстроен заново как морская база Севастополь, Ялта стала морским курортом, Кафа – хлебным портом Феодосия.

Зона тала в Крыму – это его внутренняя, степная часть, лежащая за прибрежными утесами. Это не равнина, а плоская возвышенность, состоящая из трапециевидных, выветренных серовато-зеленых дюн. Их покрывает сухой дерн, сотканный из пахучих трав, и если его срезать, обнажившуюся землю сдует восточным ветром.

Вдоль побережья ветер дует с моря или внезапно обрушивается шквалами с гор. Но внутри полуострова, за цепями гор, ветер постоянно дует из Азии через пять тысяч километров равнины, некогда поросшей травой и отделявшей Европу от высокогорных пастбищ Центральной Азии, откуда кочевники начинали свои странствия. Древние греки пересекали океан воды, чтобы достигнуть Крыма, и их путешествие от Боспора до Южной России занимало месяц или больше. Но кочевники, приходившие на этот берег, пересекали океан травы, месяцы и годы медленно плывя вперед в своих повозках, гоня перед собой стада коров и табуны лошадей, чтобы, наконец, остановиться на привал у Крымских гор, перед морем.

Скифы уже были там, в крымской степи и на равнинах, когда греки впервые причалили к берегу в VIII веке до н. э. В последовавший за этим период греческой колонизации, продлившийся несколько веков, напор миграции на запад из Центральной Азии был слаб, и прошло еще пятьсот лет, прежде чем скифы продолжили свое путешествие на восток, и на их место пришли сарматы. Затем, в первые столетия нашей эры, натиск кочевых народов, шедших один за другим, стал гораздо более настойчивым. За сарматами пришли готы с севера, потом гунны, разрушающие все на своем пути, а затем хазары, которые в VIII веке основали на черноморском побережье свою недолго просуществовавшую тут степную империю. Тюркоязычные кочевники (называвшиеся по-разному – кыпчаками, куманами или половцами) захватили степь между XI и XIII веками, после чего их вытеснили или прогнали дальше на запад наступающие татаро-монголы Золотой Орды.

Столица Золотой Орды, Сарай, располагалась далеко от черноморского побережья, в среднем течении Волги. Орда всегда была рыхлым политическим объединением, которое вскоре начало распадаться на части, и в XV веке южная ветвь Орды создала свое собственное независимое государство на внутренних равнинах полуострова Крым, чтобы осесть там, заняться интенсивным земледелием и скотоводством и постепенно забросить прежнюю кочевую жизнь. Это было Крымское ханство, или государство крымских татар. Вслед за этим на несколько столетий в Крыму воцарилось относительное спокойствие, пока Османская империя, захватив Константинополь, не добралась до северного берега Черного моря и самого Крыма. Для крымских татар, которые в XIV веке приняли ислам, власть турок означала скорее просто смену подданства, чем изгнание, и ханство просуществовало до самого 1783 года, когда Екатерина Великая завоевала Крым для Российской империи.

Для того чтобы зоны тела и разума в Крыму могли совместно богатеть, необходимо было два условия: купцы на побережье, имеющие безопасный доступ к внешним рынкам Средиземноморья и за его пределами, и стабильная политическая ситуация в степи. Иногда на великой равнине случались смуты, тогда торговые пути закрывались, выращивать хлеб за пределами городских стен становилось опасно, а сами города-колонии периодически грабили и жгли. Но в течение долгих периодов времени, особенно в скифские времена, там царил мир. Греческие колонисты и скифские вожди на побережье выращивали хлеб на экспорт, на рынки приморских городов, основанных греками, из северных лесов поставлялись меха, воск, мед и рабы, и скифы по большей части беспрепятственно пропускали эти караваны через свои открытые пастбища к морю. И греческие купцы, и скифские князья из внутренних земель

исключительно разбогатели на барышах от зерна и рабов, кормя и обеспечивая рабочей силой весь эллинский и римский мир.

Скифы и пришедшие за ними сарматы и готы тратили это богатство с размахом. Они покупали драгоценности и золотые изделия, которые по их личному заказу и прихоти изготавливали в городах-колониях греческие мастера и их местные подмастерья. Они уносили сокровища с собой в могилу, дабы вечно лежать под высокими курганами среди своих жертвенных лошадей, рабов и женщин.

Если ехать через крымскую степь на восток, вы оказываетесь у последней трапециевидной дюны, где земля у ваших ног уходит вниз. В лицо вам непрерывно хлещет жестокий ветер – вы стоите на последнем горном хребте и смотрите через Азовское море на бесконечную палевую равнину, которая начинается здесь и тянется через весь континент – за северную оконечность Каспийского моря и до самого озера Байкал. Линии горизонта нет: только длинная полоса темноты на востоке, означающая приближение ночи.

На этом гребне находится фундамент каменной башни. Когда татаро-монголы Золотой Орды пришли на Крымский полуостров, прошлепав на своих малорослых лошадах через солончаковые болота Азовского моря, они увидели эту башню наверху, вырисовывающуюся на фоне неба, и назвали ее кырым – крепость. Они разбили за ней свой первый лагерь и ставку в Эски-Кырым – “старой крепости”, и отсюда, вероятно, происходит название “Крым”. Из Эски-Кырыма татары двинулись в Бахчисарай и заложили дворец своего ханства в зеленой долине, наполненной журчанием воды и соловьиным пением.

Зона тела всегда нетерпеливо давила на зону разума. Иногда это давление бывало разрушительным, как, например, в конце XIII века, когда татары прискакали из Эски-Кырыма к морю и разграбили крупный генуэзский город Кафу. Но часто оно меняло свою природу. Незримая стена между “европейскими” колонистами и “туземными” кочевниками постоянно ветшала или обнаруживала широкие бреши.

Скифы, к примеру, были не только странствующими коневодами, жившими в кибитках. Помимо этого, они умели возделывать поля и выращивать зерно в промышленных масштабах, а не просто в количестве, необходимом для

собственного пропитания, строить долговечные укрепленные поселения, имевшие в основе что-то вроде градостроительного плана, изящно и изобретательно обрабатывать металл. Греческие или итальянские жители торговых колоний могли быть не только купцами, но и земледельцами, отваживаясь работать далеко за пределами своих оборонительных стен. Кочевники – тому есть несколько хорошо известных свидетельств – могли вести двойную жизнь: как эллинизированное или италянизированное мелкое дворянство внутри городских стен и (переодевшись в буквальном смысле слова) как традиционные степные вожди за их пределами. Богатые хазары, говорившие на тюркском языке, но исповедовавшие иудаизм, жили в Судаке как уважаемые горожане. Гораздо раньше, в I веке н. э., Дион Хризостом посетил город Ольвию возле устья Днепра и обнаружил, что тамошние жители цитируют Гомера, но одеты в варварские штаны и мокасины кочевников.

Неизвестно, протекал ли указанный процесс и в обратном направлении: мы не знаем “цивилизованных” индивидов из зоны разума, которых тянуло бы вовне, в “варварскую” зону тела, и которые жили бы в кибитках, пили кобылье молоко и поклонялись лошадиным остовам на кольях, сторожившим царские могилы. Вероятно, были и такие. Такое случилось на американском Диком Западе, где всегда были европейские трапперы, странствующие торговцы и даже жены и дети колонистов, жившие “на индейский лад” по собственному выбору.

Но между телом и разумом, между степью и побережьем, было и третье пространство – горная область духа. На плоских вершинах горной цепи Чатыр-Даг или в пещерах, скрытых в лесу, вдали и от кочевников, и от торговцев жили общины, которые утратили всякую надежду на богатство или завоевания.

От Бахчисарая наш автобус поехал на юг, к нижним склонам приморского кряжа, через маленькое ущелье и остановился на лугу, окруженном горами. Византинисты устроились на траве у озера и развернули бутерброды. Там росли деревья, стояло несколько палаток, родниковая вода текла из трубы в старую железную чашу фонтанчика, в которой мылись и стирали одежду две молодые женщины.

Одна из них, одетая лишь в длинную черную юбку, направилась к нам и наклонилась, чтобы отжать мокрые волосы. “Есть западная сигарета? Наши советские ужасны”.

Один из византинистов протянул ей пачку. “Есть новости?”

Она выпрямилась, откинула волосы за спину и сказала, прикуривая от протянутой спички: “Новостей нет. По радио одно чертово «Лебединое озеро»”.

Два мальчика у нее за спиной пытались дотянуть провод от своей палатки до дерева. Восхождение от луга на дне долины к вершине Мангуп-Кале заняло час: с усилием, обливаясь потом, мы вскарабкались на полкилометра вверх, и наконец между деревьями замаячила разрушенная городская стена. Оттуда дорога была уже легче. Но начиная с этого места лес превратился в кладбище: сотни каменных надгробий, занесенных опавшей листвой, покосившихся, опрокинутых и перевернутых, покрытых глубоко вырезанными еврейскими буквами.

Это могилы караимов. Они принадлежали к иудейской секте, которая возникла в Месопотамии в VIII веке и рассеялась с повсеместным распространением талмудического иудаизма двумя столетиями позже. Караимы верили, что слово Божье заключено в Ветхом Завете и нигде более и что дополнения к нему, например Талмуд, – это богохульство и разложение (по этой причине христиане-протестанты, особенно немецкие, всегда были очарованы караимами, которых они ошибочно считали предвестниками христианской реформации).

Караимы, изгнанные из Палестины и Египта потрясениями Первого крестового похода, достигли Крыма в XII веке. Они переселились в Византийскую империю и дальше, в Северо-Восточную Европу, где часть караимов осела на землях Речи Посполитой.

Многие сектанты, подобно альбигойцам Южной Франции, чувствовали себя в безопасности только в глухих, хорошо приспособленных для обороны местах, удаленных от густонаселенных центров власти. Тот же экзистенциальный ужас испытывали и караимы, которые бежали на вершины Крымских гор или в Литву, на укрепленные острова города Троки[5 - Современный Тракай. – Прим. пер.], стоявшего на озере, окруженном березовыми лесами. Однако караимы, как раки-отшельники, предпочитали не строить собственные крепости, а селиться в готовых, построенных, но затем покинутых другими. Мангуп-Кале они завладели не раньше, чем город был разграблен и оставлен турками. Древнейшая караимская могила в лесах под этой вершиной датируется 1468 годом, несколькими годами ранее падения Мангупа, но большинство надгробий было вырезано в XVI и XVII веках.

В Крыму караимы держались особняком от окружавших их христианских и мусульманских общин, тщательно оберегая свой образ жизни; они производили и продавали небольшие предметы домашнего обихода, но избегали служить какому бы то ни было правительству. Один историк заметил, что приблизительно с 1200 по 1900 год в их жизни почти ничего не происходило: история крымских караимов представляла собой сплошное бессобытийное пятно долгого мира. Между тем благодаря своему замкнутому существованию караимы приобрели репутацию людей более честных и добродетельных, чем представители других местных сообществ, и вследствие этого, когда в истории караимов кончилось затишье, она приняла любопытный оборот. Гои под впечатлением от их порядочности стали изобретать причины, по которым на караимов не должен был распространяться общий антисемитизм. Высказывалось предположение, что они были обращены в иудаизм подобно хазарам. Абсурдная ирония ситуации состояла в том, что из-за ревностного стремления караимов следовать более исконному иудаизму, нежели другие иудеи, гои вообще не считали их настоящими евреями.

После аннексии Крыма Россией в конце XVIII века Екатерина II отнеслась к караимам с уважением и интересом. Она прибавила к Российской империи огромные территории: на западе – большую часть старой Речи Посполитой, а на юге – почти все северное побережье Черного моря. Для того чтобы развивать эти территории, она вербовала колонистов – немцев, греков, армян, даже французских поселенцев, и караимы, с их здравомыслием и энергией, годились для этой цели как нельзя лучше. Екатерина переселила часть крымских караимов в Литву, усилив их старые поселения, а на юге, в огромной новой пограничной Новороссийской губернии, гарантировала им все права российских подданных – права, в которых была поражена большая часть еврейского населения. Из Мангупа и другой своей горной цитадели, Чуфут-Кале над Бахчисараем, караимы начали переселяться вниз, в города на крымском побережье, прежде всего в Евпаторию. Когда шотландский путешественник Лоуренс Олифант взобрался на Чуфут-Кале в 1852 году, он обнаружил, что там осталась лишь горстка караимов, присматривавших за древней синагогой. Остальные покинули Мангуп примерно пятьюдесятью годами ранее.

Во время Второй мировой войны нацистское Расовое управление в Берлине постановило (как оказалось, тщетно), что на караимов не должно распространяться “Окончательное решение еврейского вопроса”, на том основании, что биологически и генетически они не евреи, а потомки хазар, обращенных в иудаизм. Это было совершенным вздором, но основные еврейские

общины Черного моря, внесенные в список на убой, по всей видимости, поддерживали этот миф, чтобы спасти хотя бы своих братьев, раз уж они не могли спастись сами.

Почти под самой вершиной Мангупа бьет родник с холодной вкусной водой. За ним деревья расступаются – и вы оказываетесь на плато, покрытом коротким дерном и благоухающем чабрецом. Там находятся руины: кое-где сохранились башни и арки, кое-где – только каменные опоры стен. Это все, что осталось от базилик, надвратных сооружений, синагог и сторожевых башен. Внизу расстилается мир – море и суша. Люди приходили и селились на Мангупе, когда боялись за свою жизнь или желали остаться наедине с Богом. Или, может быть, то и другое вместе.

В тот день на плоской вершине стоял лагерь: ряд походных палаток, над которыми развевался российский триколор, старая армейская полевая кухня на колесах, закоптевшее ведро с кипящим чаем, клубы сизого древесного дыма. Археологическая экспедиция от Уральского университета в Свердловске (теперь это снова Екатеринбург) вела раскопки на вершине в течение нескольких недель. Здесь, над миром, они не знали последних новостей. Озабоченные студенты сбились в кучку вокруг нас, пока мы пили чай вприкуску с крупным кусковым русским сахаром. Из их радиоприемника лилась только легкая музыка, как затянувшийся смущенный смешок, призванный заполнить молчание России, которое час от часу становилось все более пугающим.

Все человеческие популяции в каком-то смысле иммигранты. Любая вражда между разными культурами, сосуществующими в одном месте, несет в себе оттенок иммигрантской неприязни к следующей полной шлюпке, приближающейся к берегу. Нам кажется, что у всякого есть право защищать от вторжения свой дом, поля и могилы предков. Но претендовать на единоличное владение, то есть выводить из своего проживания в том или ином ландшафте отвлеченное понятие вечного и непреложного права собственности, просто смешно.

Подобными анекдотами изобилует, однако, каждое столетие в истории Крыма, чья красота возбуждает в каждом, кто там оказывается, почти сексуальный позыв обладать им. Здесь нет коренного населения, нет туземцев. До скифов, до

предшествовавших им киммерийцев, до племен бронзового века, которые возвели первые курганы, тут жили люди, которые пришли откуда?то со стороны. Крым всегда был конечным пунктом назначения: прибрежными утесами в конце морского пути или берегом, на котором кибиткам предстояло окончить свое странствие. Кочевые племена оседали в Крыму (скифы прожили тут почти тысячу лет), но в конце концов рассеивались или двигались дальше. Неизменной в истории Крыма была только определенная трехчленная структура, которую полуостров навязывал всем пришельцам: и хотя зоны разума, тела и духа часто становились почти неразличимыми, но неизменно всегда возникали снова. Эту правду о Крыме – тот факт, что он принадлежит всем и никому, – стали попираить только в новейшие времена. Дважды на нее покушались властители, чьи поползновения были бы просто нелепыми, если бы с ними не было связано так много крови и страданий в прошлом и, очень вероятно, в будущем. В 1783 году Екатерина Великая провозгласила, что Крымский полуостров отныне и навеки принадлежит России. А в 1954 году Никита Хрущев, украинец, пытавшийся отвлечь внимание своего народа от его собственных бедствий, объявил о выведении Крыма из состава России и передаче его Украине.

Мангуп – средоточие всех этих крымских парадоксов. Большая часть развалин на его вершине принадлежит некоему забытому, почти неправдоподобному княжеству Средних веков. Крепость Феодоро на Мангупе заключала в себе независимое греческое княжество, которым правили князья Готские. Но что здесь, наверху, значили определения “греческий” или “готский”?

Готы пришли на Черное море и в Крым с необычной стороны: не с востока, а с северо-запада. Этот протогерманский союз племен из Южной Скандинавии оккупировал Крым в III веке в ходе своего завоевания большей части черноморского побережья. Сто лет спустя черноморские готы были разбиты гуннами. Многие из них направились на запад, вступив в следующую фазу своей миграции, которая ко времени их правнуков приведет их в Италию – это и будет армия короля Теодориха Великого. Но часть осталась в Крымских горах. Они приняли христианство, вошли в состав Византийской империи и по-прежнему были тут в VI веке, когда император Юстиниан I укрепил Мангуп, который стал одной из опорных точек оборонительной линии, призванной защищать прибрежные города от нападения из степи.

Когда хазары завоевали Крым в VIII веке, остатки готов-христиан ушли в горную область духа. Иоанн, епископ Готский, спустился с Мангупа вниз, чтобы

возглавить безуспешное восстание против хазар. Но византийские императоры предали его. Они предпочли прийти к соглашению с иудаизированными хазарами, осознав, что эти могущественные союзники могут создать буферную зону между империей и дикими кочевыми племенами, приближавшимися к Черному морю из степи. Два византийских императора – Юстиниан II и Константин V – женились на хазарских княжнах. Готы вернулись на свою возвышенность и пропали из виду почти на 700 лет.

Большой мир, лежавший под “затерянным миром” этого плато, продолжал меняться, но готы по-прежнему проводили богослужения в своей огромной базилике и не обращали внимания на потрясения, происходившие у подножия их утесов, до тех пор, пока в 1475 году не пришли османские турки. Зачистив границы Византийской империи после захвата Константинополя в 1453 году, турки и их союзники – крымские татары – взяли штурмом горное княжество Феодоро и положили конец Готии.

Базилика Константина и Елены, датируемая IX веком, на некоторое время оказалась заброшенной. В 1579 году некий польский аристократ взобрался на вершину, чтобы ее осмотреть. Мартин Броневский (Broniovius) был послан королем Стефаном Баторием с дипломатической миссией к Мохаммеду Гирею, хану крымских татар, и написал об этом на латыни изящный отчет – *Tartariae Descriptio*, который сто лет спустя перевел на английский язык Сэмюэл Пёрчес. “Манкоп [Мангуп] <...> Здесь были два замка, построенные на обширной и высокой скале, великолепные греческие церкви, дома, и много ручейков свежих и чистых, вытекавших из скалы. Но потом он был взят турками; а еще позже, спустя 18 лет, по сказанию христианских греков, совершенно был уничтожен внезапным, страшным пожаром” [6 - Перевод И. Г. Шершеневича.]. Броневский обнаружил, что еще целы “греческая церковь Св. Константина и другая, Св. Георгия, совершенно ничтожные. Там живет только один грек, да несколько евреев и турок; прочее все приведено в ужасное разорение и забвение. Нет даже никаких письменных памятников, ни о вождях, ни о народах, которые владели этими огромными замками и городами. Я с величайшим старанием и трудом отыскивал их следы на каждом месте”. Однако Броневскому удалось расспросить православного священника, который рассказал ему, что “незадолго до осады этого города турками жили здесь какие-то два греческих князя, дед и внук, которые, верно, происходили от крови константинопольских или трапезундских государей. Греки-христиане довольно долго в этом городе обитали; но вскоре потом неверный и варварский народ турки, нарушив данное слово, захватили его. Те константинопольские князья уведены оттуда живыми и жестоким образом были умерщвлены турецким султаном Селимом, за сто десять

лет перед сим. На стенах греческих храмов видны изображения, представляющие родословную государей и государынь, от которых, кажется, они происходили”.

Сегодня от базилики сохранился только фундамент, и археологам из Уральского университета остается только гадать, о чем могли бы поведать им эти “изображения, представляющие родословную государей”. Область духа теперь почти пуста. Единственные обитатели Мангупа – колония русских хиппи. Дальше плато выдается на северо-восток нависающим ужас бушпритом голого камня, нависающим над провалом в тысячу футов. Хиппи живут в прежних караульных помещениях, высеченных в скале. Они лежат, завернувшись в одеяла, на каменных полах, с урчанием вдыхая наркотический дым и чад костров из зеленых веток и иногда накручивая себя до перебранок. Девушки из университетской экспедиции знали, что лучше не забредать на этот конец плато в одиночку, но группы студентов иногда приходили и оставляли на краю утеса жестянки с чаем или несвежие буханки. Отступив на несколько метров, они могли наблюдать, как хиппи, словно медведи, выбиралась из своей норы и набрасывались на еду.

На готском языке, как и на греческом и, вероятно, иврите, продолжали говорить в Крыму и в Новое время. Кроме того, это был письменный язык. Епископ Ульфилла перевел часть Библии на западный вестготский язык в IV веке, однако язык просуществовал в Крыму еще долгое время, после того как его западный диалект вымер. В 1562 году австрийский дипломат Ожье Гислен де Бюсбек (более известный как человек, первым пославший луковицы тюльпанов из Турции в Европу) записал 86 готских слов и выражений, которые он узнал от крымчан, встреченных им в Константинополе, а последние носители этого языка, по всей видимости, вымерли в XVII веке.

Море чернил было без толку пролито в спорах о Мангупе и его “проблеме крымских готов”, а на самом деле – в настойчивых, упрямых попытках навязать современные понятия этнической принадлежности древнему обществу, к которому они были неприменимы. Раскопки начались на вершине Мангупа в XIX веке. Любители древностей Уваров, Брун и Лепер[7 - Граф Алексей Сергеевич Уваров (1825–1884), Филипп Карлович Брун (1804–1880), Роберт (Роман) Христианович Лепер (1865–1918). – Прим. пер.] в разное время выдвигали свои теории. Немецкие исследователи, увлеченные германской этнической принадлежностью готов, стремились обнаружить в Крыму свидетельства

существования некоего древнего Тевтонского государства, которое возводило каменные города и властвовало над соседями. Однако свидетельства были скудны. Эта фантазия о прагерманском Крыме, тевтонской городской цивилизации, которая подхватила факел культуры, упавший из рук ослабевшего Рима, была признана беспочвенной позднейшими учеными.

Однако затем нацистская мысль – этот отстойник несостоятельных, скомпрометированных и протухших идей – снова извлекла ее на свет и пустила в ход как новую версию псевдоистории и собственной политической легитимизации. Крым должен быть отвоеван и готское государство восстановлено. На полуостров, очищенный от татар, евреев и русских, за исключением временной рабочей силы и сельскохозяйственных рабов, отправятся составы, груженные германскими поселенцами. Севастополь будет переименован в Теодорихсхафен. Симферополь станет Готенбергом. Сам Крым получит имя Готланд.

Гитлер в частном порядке проявлял сдержанность в отношении тех департаментов Третьего рейха, которые были заняты изготовлением новой версии истории. По большей части он оставлял подобные увлечения Розенбергу и Гиммлеру, чья одержимость археологией однажды вызвала у Гитлера вопрос: “Почему вы так стремитесь показать миру, что у нас, германцев, нет прошлого?” Однако Крым его будоражил. В апреле 1941 года, за два месяца до вторжения Германии в Советский Союз, было решено, что Крым следует отделить от России и передать марионеточному государству Украина. В июле, когда германские войска уже глубоко внедрились на советскую территорию, Гитлер лично провел стратегическое совещание, посвященное Крыму, на котором был в общих чертах одобрен проект “Готланд/Готенгау”. Что касается крымских татар, они были признаны расово неполноценными, как и евреи, но их депортацию предполагалось отсрочить, чтобы не оскорбить нейтральную Турцию, защищавшую татар на протяжении большей части их истории. Правда, истинная привлекательность готландского плана для Гитлера имела мало отношения к Черному морю: с помощью этого проекта Гитлер видел возможность разрешить дилемму Южного Тироля.

В 1918 году немецкоязычное население горных долин в верхнем течении реки Адидже было извлечено из обломков поверженной империи Габсбургов и преподнесено Италии победоносной Антантой в качестве своего рода взятки, обещанной Италии несколькими годами ранее за поддержку в войне против Центральных держав. Позднее население Южного Тироля поставило

щекотливую дипломатическую задачу перед новым нацистским правительством Германии. Нацисты планировали решить проблему германских меньшинств, живших в других странах, или аннексировав их территории (как в случае Судетской области), или переместив их Heim ins Reich, то есть переселив внутрь расширившихся границ рейха. Но Муссолини был союзником Гитлера, и для южных тирольцев пришлось сделать исключение. Крошечные горстки палеогерманского населения из других долин Северной Италии (например, кимбры, предположительно, происходившие от того племени, которое Марий вырезал и рассеял в долине реки По в 101 году до н. э.) были переселены в Германию по взаимному германо-итальянскому соглашению. Однако итальянская граница, проходившая через Альпы по перевалу Бреннер, оставалась на своем месте, и южные тирольцы остались в Италии.

Этот компромисс не давал Гитлеру покоя, и теперь он нашел ему новое решение. Германцы Южного Тироля должны были переселиться в Готланд. Почему бы и нет? Там тоже были лесистые горы, плодородные долины, вода в изобилии. И там уже были виноградники, насаженные иностранцами – поселенцами Екатерины Великой – или русскими помещиками. Возможно, их продукция по своему качеству не могла сравниться с красным вином из Боцена и Мерана (Больцано и Мерано), обогатившим тирольских крестьян, но немецкое Fleiss[8 - Усердие (нем.).] и мастерство должны были все изменить.

В конечном счете никакие немцы – ни тирольские, ни иные – в Крыму так и не поселились, однако готландский проект имел ужасные последствия. Когда-то союз между крымскими татарами и османскими турками уничтожил Готию – теперь же крушение готландского плана обернулось необратимой катастрофой для крымских татар.

Группа армий “Юг” фельдмаршала фон Рундштедта вторглась в Крым в сентябре 1941 года. К ноябрю в руках немцев оказался весь полуостров, кроме Севастополя, который продержался до июля следующего года. Поначалу крымские татары приветствовали немецкую оккупацию – или, скорее, изгнание русской, советской власти – как собственное освобождение, и у них были веские основания для подобных чувств.

К 1854 году, спустя всего полвека после русской колонизации Крыма, татары составляли там не более 60 процентов населения. Это было связано как с сокращением их численности, так и с постоянно увеличивавшимся притоком русских и других европейских поселенцев. К 1905 году крымские татары

превратились в меньшинство на своей собственной (как они полагали) земле. В конце XIX века возникло движение татарского “Национального пробуждения”, во главе которого встала интеллигенция; татары приветствовали революции 1905 и 1917 годов – скорее как ниспровержение репрессивной колониальной империи, чем как победу в классовой борьбе. Их ожидало разочарование. Революция 1905 года обнадеедила татар, требовавших независимости или автономии, однако победа большевизма между 1917 годом и концом Гражданской войны в 1920-м положила начало кровавым преступлениям и разорениям, которые не прекращались в Крыму при жизни двух поколений.

За первой расправой над татарскими националистами, учиненной большевистской тайной полицией (ЧК) в 1920 году, последовал голод 1920–1922 годов, который в Крыму был даже хуже, чем в Южной России и на Украине. Почти половина населения Бахчисарая – татарской столицы – вымерла от голода, и к 1923 году татары составляли лишь четверть всего населения Крыма. Сталинские репрессии начались с кулаков (зажиточного крестьянства), но вскоре вылились в уничтожение всей дореволюционной татарской интеллигенции и запрещение татарской культуры. Историк Алан Фишер в своей книге “Крымские татары” подсчитывает, что 150 тысяч татар, половина всей татарской популяции на 1917 год, были убиты, депортированы или высланы из Советского Союза к 1933-му. Новое массовое уничтожение образованных татар, включая мусульманское духовенство, последовало в ходе Большого террора 1937–1938 годов.

Вследствие этого едва ли приходится удивляться, что в 1941-м татары с чем-то вроде ностальгии вспоминали предыдущую германскую оккупацию 1918 года, в конце Первой мировой войны. По сравнению с советским режимом, который за ней последовал, это был период относительной свободы. В тот год татарский политический деятель, лидер национально-освободительного движения Джафер Сейдамет и литовско-татарский генерал Сулькевич создали 1-й Мусульманский корпус для поддержки германской армии в Крыму. Татарские националисты помнили прежнюю германскую политику, предлагавшую Крыму возможность обрести независимость в обмен на поддержку действий против России, и предполагали, что сделка на тех же условиях может быть возобновлена в 1941 году. Они ошибались. Хаос, царивший в нацистской администрации, – дарвиновская борьба за существование между конкурирующими ведомствами, которую еще можно было удерживать в каких-то рамках в самом рейхе, но которая неподконтрольно процветала на оккупированных территориях, – быстро срывал попытки проведения в Крыму последовательной политики подобного рода, на которой настаивал Гитлер.

В конечном счете три разных центра власти пытались реализовать три взаимоисключающие стратегии в Крыму. Первую стратегию проводила армия. Фон Манштейн, второе лицо в немецком командовании после генерала Рундштедта, эксплуатируя недовольство татар советской властью, формировал в татарских деревнях военные подразделения и отряды ополченцев, которые взяли на себя часть нагрузки по подавлению сопротивляющихся партизанских отрядов, оставленных после себя отступающей Красной армией. Однако в то же время фон Манштейн осмотрительно воздерживался от намеков, что создание этих сил ополчения может иметь какие-либо политические последствия. Будучи солдатом, он не хотел раздражать нетатарское большинство, оказывая покровительство татарам как группе населения.

Гораздо более протатарской линии придерживалась немецкая гражданская администрация. Генеральный комиссар Крыма, генерал Фрауенфельд, был захвачен идеей возрождения крымских татар как Kulturvolk. Он снова открыл татарские школы, впервые за долгие годы, и выделял средства на развитие татарского языка и традиционного уклада. Был открыт татарский театр, татарские газеты возродились к жизни, существовал даже проект отдельного татарского университета. В политике Фрауенфельда, несомненно, был определенный расчет в духе "разделяй и властвуй", но в основном им двигало неподдельное, старомодное германское интеллектуальное увлечение народной культурой, на которой Гердер основывал свое определение "исторической нации". Фрауенфельд организовал мусульманские комитеты (в некоторые из них входили выжившие члены националистических партий, существовавших до 1917 года), а в Берлине было учреждено фантомное татарское представительство, но этот подход, целиком укладывавшийся в рамки просвещенного колониализма, имел мало реального политического содержания. И все же образ действий Фрауэнфельда был совершенно чужд духу готландского проекта, согласно которому татары должны были быть низведены до положения рабов арийских поселенцев до тех пор, пока не будет решена их окончательная участь – смерть или изгнание.

Третий политический курс наметился после того, как вслед за боевыми подразделениями в Крым прибыл штаб частей СС, возглавляемый Отто Олендорфом. Отряды особого назначения, а именно расового и политического массового истребления, под командованием СС были прикреплены к каждой группе армий в районах расположения второго эшелона. В Крыму это была айнзатцгруппа D, чья расстрельная команда приступила к систематическому массовому убийству нежелательных элементов. Зверства СС побуждали все

большее количество татар присоединяться к партизанам или формировать собственные группы сопротивления там, где советские партизанские отряды их не принимали. К апрелю 1944 года, когда Красная армия снова вошла в Крым, Олендорф убил около 130 000 человек, включая все цыганское население Крыма, оставшихся евреев и – невзирая на все те этнологические соображения, которые были так любезно высказаны в Берлине, – большую часть караимов. В числе жертв Олендорфа оказались десятки тысяч татар.

Готландская фантазия захлебнулась в хаосе и крови, не успев родиться на свет. Ее единственным следствием стала месть Сталина крымским татарам, которые были несправедливо обвинены в массовой коллаборации с нацистами. Это обвинение в предательстве России имело давние истоки. Сталин просто внес свою лепту в более чем вековую легенду российской пропаганды, утверждавшую, вопреки доказательствам обратного, что татары – разновидность турок и, следовательно, всегда и превыше всего преданы Османской империи и исламу. Во время Крымской войны 1854–1856 годов, когда британские и французские войска сражались на этом полуострове против России, не было отмечено значительного перехода татар на сторону врагов России. Однако Александру II, вступившему на престол еще в ходе войны, доложили, что татары представляют собой угрозу российской безопасности, и после войны их настоятельно побуждали к эмиграции. Во всех последующих российско-турецких конфликтах большое число татар служило в российской армии, сражаясь против своих братьев-мусульман, но это свидетельство преданности никак не повлияло на господствовавшую в России “паранойю” в их отношении. Каждая русско-турецкая война снова вызывала у татар чувство безысходности и порождала очередную волну эмиграции.

В действительности большинство нацистских коллаборационистов в Крыму во время Второй мировой войны составляли нетатары. Приблизительно 50 000 татар сражались на всех фронтах в составе советских вооруженных сил. Действительно, примерно 20 000 вступили в сельское ополчение, сформированное фон Манштейном. Большая часть из них хотела просто защитить свои дома от налетов русских и украинских партизан, которые часто напоминали скорее расовые погромы, чем военные операции. Но примерно вдвое большее число поволжских татар служило вместе с немцами в сходных добровольческих отрядах, и они, в отличие от крымских, не понесли коллективного наказания.

В Крыму репрессии начались незамедлительно. Некоторые партизанские отряды к тому времени уже расстреливали татар, которые пытались к ним присоединиться. В течение нескольких дней после того, как советские войска снова заняли полуостров в апреле 1944 года, татар расстреливали целыми деревнями и вешали на симферопольских фонарных столбах. Но все это было только прологом к более продуманной мести Сталина.

Просторы Советского Союза позволяли Сталину разбираться с негодными ему социальными группами множеством самых разных способов. Он мог, конечно, просто распорядиться убить их, и когда он считал нужным, он так и поступал. Однако, подобно римскому императору или европейскому колониальному наместнику, укрощающему непокорные племена на рубежах империи, он был наделен властью насильственно отправить целый народ в изгнание, сослать за тысячу миль от родного дома.

Крымские татары были первым этническим меньшинством, которое подверглось массовой депортации. Через несколько недель после того, как советская власть снова утвердилась в Крыму, все оставшееся крымско-татарское население было сослано в Среднюю Азию. Татар везли по железной дороге в вагонах для скота, иногда в течение целого месяца, и выбрасывали в пустыне, без пищи, инструментов или укрытия, предоставив выживать самим, если сумеют.

Об этой депортации не объявляли два года. Затем в Москве было выпущено заявление, в котором со ссылкой на статью 58, параграф I (а) УК, касавшийся “измены Родине”, населению сообщалось, что крымские татары, как и чеченцы и ингуши с Северного Кавказа, “были переселены в другие районы СССР, где они были наделены землей с оказанием необходимой государственной помощи по их хозяйственному строительству”.

Одиннадцатью годами позже, в 1956 году, после того как Никита Хрущев особо упомянул и осудил депортацию татар в своем докладе “О преодолении культа личности и его последствий” на XX съезде КПСС, в Москву из Ташкента пошли первые робкие петиции. Татары просили предоставить им возможность вернуться домой. 30 лет после этого продолжались воззвания, демонстрации и делегации, официальная ложь и ничего не значившие “реабилитации”, борьба самих татар и их сторонников из числа советской демократической оппозиции. Например, великий генерал Петр Григоренко, ветеран войны и убежденный противник коммунистического строя, посвятил свою жизнь делу разоблачения несправедливости, учиненной по отношению к крымским татарам, пожертвовав

ради этого своей свободой и здоровьем. Все, кто включался в крымско-татарское движение за возвращение – татары, русские или украинцы, – знали, какую цену они заплатят за свою борьбу: угрозы, избиение, массовые аресты, сроки заключения в лагерях или – такова была судьба Григоренко – годы, проведенные в бесчеловечной психиатрической лечебнице по сфальсифицированному диагнозу.

Но сейчас татары наконец-то возвращаются домой. Они называют это место домом, несмотря на то что за истекшие пятьдесят лет сменилось не одно поколение, и те, кто возвращается, за незначительными исключениями родились в Казахстане или Узбекистане. Они называют это место домом, хотя маленькие белые оштукатуренные, густо увитые виноградной лозой домики, принадлежавшие им, их родителям или родителям их родителей, заняты теперь русскими или украинскими иммигрантами, которые в большинстве своем их ненавидят. Возвратившиеся татары подвергались нападениям со стороны соседей, случались и убийства. Крымская коррумпированная администрация, правящая сейчас в Симферополе, обращается с ними как с пришлыми самовольными поселенцами. Но мужчины и женщины строят дома из самодельных глиняных кирпичей, тростника и рифленого железа в каменистых, никому не нужных низинах, на голых пустошах за пределами крымских городов. Они разбивают на участки и распределяют между семьями бесплодную землю и чудом добывают воду из скал. Сейчас там, где прежде был только пыльный серый дерн, дымкой поднимаются зеленые всходы и раздается стук молотков. Это их Израиль, их земля обетованная, и ничто больше не разлучит их с ней.

На следующее утро после Мангупа мы отбыли в симферопольский аэропорт, откуда у нас был рейс в Москву. На этот раз даже генуэзцы мрачно притихли в автобусе. Но потом бородатый русский ученый рядом со мной, ранее отрекомендовавшийся православным консервативным монархистом, вдруг выпалил своим низким голосом: “Так не могло продолжаться! Царила полная анархия, бандиты и мафиози разваливали страну; кто-то должен был вмешаться”.

Я уставился на него в изумлении.

Он пробормотал, избегая моего взгляда: “Ну а де Голль? Четвертая республика впала в анархию, разве не так? И когда целостности, самому существованию Франции стал угрожать Алжир, он захватил власть. Ведь когда...” “Вы хотите

сказать, что Геннадий Янаев – это де Голль и что Литва или Грузия – что?то вроде «русского Алжира?»”

Ответом мне был только укоризненный взгляд.

В аэропорту Симферополя продавалась “Крымская правда”, но фактически это был просто сложенный в виде газеты плакат с прокламациями хунты. По сообщениям этой местной “Правды”, все демонстрации были запрещены, в Москве и Ленинграде был введен комендантский час. Никаких новостей в газете не было, равно как и комментариев, зато там было опубликовано нелепое “Воззвание” Янаева и его товарищей-путчистов, написанное языком какого-нибудь латиноамериканского пронунциаменто[9 - От pronunciamento (исп.) – вооруженное восстание в Испании и южноамериканских республиках, низвержение старого правительства и провозглашение нового. – Прим. пер.]: от него разлило агрессивной паранойей по отношению ко всему внешнему миру, через слово упоминалась “Родина”.

В Москве, сумеречно-зеленой под летним дождем, колонны танков застыли в ожидании по обочинам длинного проспекта, ведущего из аэропорта Внуково. Танки Таманской дивизии стояли под мокрыми деревьями вокруг Московского университета вместе с полевыми кухнями и грузовиками командования. Мне это зрелище было не в новинку: точно так же советские танки отдыхали в последних числах августа под деревьями пражских парков 23 годами ранее. Теперь они оккупировали и раздавили еще одну страну – на этот раз свою собственную.

Глядя на них, я внезапно почувствовал, как у меня перехватило дыхание и заколотилось сердце. Что это было – злорадство или благоговение перед сокрушительным возмездием истории, которое очень редко попадает в цель? Как я понял позднее, ни то ни другое; скорее, эти солдаты в желтовато-коричневых гимнастерках и черно-белых тельняшках пробудили во мне сочувствие, которого я никогда не позволял себе ощутить раньше, во все те годы, когда они были тюремщиками половины Европы. Но сейчас я вдруг освободился от того заблуждения, той прочно укоренившейся лжи, из-за которой мы все отождествляем армию – тысячу или миллион испуганных и покорных молодых людей вместе с их техникой – с чувствами целой нации.

Альфред де Виньи писал: “Армия слепа и бессловесна. Она бьет наугад оттуда, куда ее ставят. Ей ничего не надо, и она действует механически. Это большая машина, которую приводят в движение и которая наносит смерть; но это и нечто

такое, что способно страдать...”[10 - Альфред де Виньи. Неволя и величие солдата / Перевод с франц. А. А. Энгельке.] Все, что произошло со времени путча 1991 года: использование недовольной армии в 1993 году для обстрела противников Бориса Ельцина в здании российского парламента, злключения русских войск во время последних двух чеченских войн, когда они устраивали резню и грозили восстанием, а потом устраивали новую резню, – иллюстрирует не только эту слепоту, но и эту способность страдать тоже.

Автобус остановился возле гостиницы “Октябрьская”. Я протащил свой чемодан по лужам, мимо проходной у ворот гостиницы и вверх по широким, пологим мраморным ступеням, ведущим в вестибюль. Сотрудники гостиницы сгрудились в углу, откуда раздавался громкий голос, говоривший по-английски с американским акцентом. Поглядев через их плечи, я увидел телевизор, настроенный на канал CNN: на экране были баррикады, женщины в нарукавных повязках, несущие буханки хлеба в здание Белого дома, оратор, стоящий на танке. Выбежав обратно на улицу, я махнул проезжавшей машине и попросил водителя отвезти меня к Белому дому. Он посмотрел на меня с ужасом. Я показал ему несколько долларовых купюр. Он еще немного поколебался, потом мрачно кивнул. Я прыгнул в машину.

Революция одержала победу в субботу 27 марта 1920 года. В этот день британские, французские и американские военные суда прикрыли эвакуацию Белой армии под командованием генерала Деникина из черноморского порта Новороссийск. Впереди было еще много сражений: барон Врангель еще держался в Крыму с другими частями Белой армии и перешел в последнее контрнаступление перед окончательным поражением, однако настоящий конец Гражданской войне и интервенции союзников был положен в Новороссийске.

Новороссийск, расположенный на северо-восточном побережье Черного моря, и сегодня выглядит во многом так же, как и в 1920 году, когда он был, как и сейчас, портом нефтяных месторождений Северного Кавказа. Он стоит у окончания маленького темно-синего залива, и над ним по-прежнему возвышаются трубы старого цементного завода, изрыгающие дым над бухтой. Склон горы над городом изрезан огромными светлыми прямоугольниками в тех местах, где из него добывали известняк для изготовления цемента. На черно-белых моментальных снимках, которые сделал мой отец в 1920 году, над гаванью, испещренной мачтами и окутанной дымом, можно различить те же прямоугольники, хотя тогда они были меньше. В лоциях [Admiralty Pilot] 1920

года описывается новороссийская гавань, “защищенная двумя молами; восточный простирается в юго-западном направлении от берега и имеет примерно полмили в длину; западный тянется от города в противоположном направлении чуть более полумили, проход между ними составляет примерно два кабельтова”. Грузовые суда в сопровождении британского и французского конвоя двигались через этот проем, выгружая артиллерийские орудия, танки и снаряжение для Белой армии – почти все это было впоследствии украдено и перепродано бандитами, танки остались ржаветь на пристани. Именно к этим молам, пристани и грузовому причалу бежала разбитая Белая армия Деникина – донские казаки, русские добровольцы и сопровождавшие их толпы беженцев, женщин и детей, – когда их последний фронт в низовье Дона был прорван натиском красных.

В числе побежденных командиров, бежавших в изгнание на Запад, был генерал Петр Николаевич Краснов, казацкий атаман в Белой армии. Он отправился в Берлин, а оттуда – в Париж, где этот суровый старый вояка, к изумлению своих друзей, сделался плодовитым писателем. Его четырехтомный роман “От двуглавого орла к красному знамени” был опубликован и переведен на несколько языков в течение трех лет после его бегства, и это было лишь первое его литературное достижение. Однако Краснов, который, как и все казаки, имел обыкновение ничего не забывать, ничего не прощать и ничему не учиться, скверно кончил.

Гораздо более талантливый писатель Клаудио Магрис в своей книге “Размышления об одной шашке” разыгрывает душераздирающую комедию жизни Краснова. В 1938 году немецкие агенты убедили 69-летнего тогда уже Краснова вернуться из Парижа в Берлин, где руководство СС, воодушевленное донесениями, что его ненависть к советскому коммунизму могла сравниться только с его презрением к иудео-демократическому Западу, льстило ему и манипулировало им. После того как в июне 1941 года вермахт оккупировал степи Украины и Южной России, старик охотно согласился еще раз повести казаков против большевистского врага. Но когда ход войны переломился и немцы начали отступать, Краснов и его люди бежали через Европу вместе с целым табором мужчин, женщин и животных; разбитый легион встал лагерем в горах позади Триеста, родного города Магриса. В апреле 1945 года казаки перешли в Австрию и сдались англичанам. Они ожидали, что с ними будут обращаться как с обычными военнопленными, или, по крайней мере, как с перемещенными лицами, и препроводят на новое место ссылки.

Однако это был уже не Новороссийск 1920 года. После нескольких недель лживых заверений британская армия, применяя силу, заставила их всех: мужчин, женщин и детей – переместиться на границу зоны оккупации, где их уже поджидали советские войска. Некоторых из этих людей, в основном из числа офицеров, англичане спасли от мести большевиков в Новороссийске всего 25 годами ранее.

Многие казаки были расстреляны на месте или в течение года. Большинство было согнано в поезда и сгнуло в лагерях Сибири или Дальнего Востока. Петру Краснову, который был предан суду и приговорен к высшей мере как предатель Родины, отказали в последней военной почести – расстрельной команде. Он был повешен в Москве 16 января 1947 года.

В романе “От двуглавого орла к красному знамени” Краснов так описывал отступление в Новороссийск:

Чем ближе подходили Полежаевы к Новороссийску, тем чаще попадались лошадиные тела. Кое-где наполовину раздетые лежали трупы людей: солдат, добровольцев и беженцев, женщин и детей. Попадались низкие, наскоро сделанные холмики могил, без крестов и надписей. Валялись повозки с поломанными колесами, разбитые ящики, полные тряпья и домашней рухляди.
<...>

Громадный богатый край вдруг кинулся спасаться к морю и тащил накопленное веками богатство, надеясь спасти его и устроиться с ним и на него где-то на новом месте. <...> Синее море – сказка русского детства и волшебный край, который должен быть за синими морями, заставляли двигаться сотни тысяч к морскому берегу.

Когда белые преодолели последний хребет, они увидели перед собой Новороссийск: море, дымящие трубы пассажирских пароходов и грузовых судов вдоль пристаней и молв, британские военные корабли на якоре на внешнем рейде. Сотни брошенных казацких лошадей стояли на улицах, ведущих к гавани: “...они... покинутые хозяевами даже не расстроили строя и стояли по шести”. У кромки моря уже началась паника: люди, топча друг друга, с криками устремлялись к кораблям.

Планы Деникина по организованной эвакуации пошли прахом. В своих немногословных безжалостных мемуарах он замечает лишь: “Много человеческих драм разыгралось на стогнах города в эти страшные дни. Много звериного чувства вылилось наружу перед лицом нависшей опасности, когда обнаженные страсти заглушали совесть и человек человеку становился лютым врагом”[11 - А. И. Деникин. Очерки русской смуты. Париж, 1921.].

Всего несколько сотен ярдов воды отделяли Новороссийск от мира, далекого, как другая планета: бодрого, по-монастырски четкого распорядка Королевского флота. Молодые офицеры смотрели в бинокли на берег, не веря своим глазам. Среди них был и мой отец, мичман на военном корабле “Император Индии”.

Список судов ВМФ [The Navy List] за 1920 год описывает его как 25 000-тонный линкор, чье основное вооружение составляли десять 13,5-дюймовых орудий, а вспомогательное – двенадцать 6-дюймовых орудий. Помимо капитана, Джозефа Хенли, на борту находился контр-адмирал Майкл Кулме-Сеймур, второй в цепи командования Средиземноморским флотом, отвечавший за эвакуацию. Деникин, не нашедший доброго слова почти ни для кого из тех, кто был свидетелем его поражения, назвал Кулме-Сеймура “добрым и великодушным человеком”, чьему “обещанию можно было верить”. Адмирал, у которого был приказ использовать свою эскадру только для защиты гражданских транспортных судов, в конце концов разрешил погрузку войск и беженцев также и на свои военные корабли. Он пошел на риск, который, как оказалось, едва не обернулся катастрофой.

“Император Индии” вышел из Константинополя в Севастополь в первых числах марта и стоял под Новороссийском примерно три недели, когда авангард отступающей Белой армии показался на перевале, ведущем на Кубань, и хлынул в гавань. В бортовом журнале 20 марта есть запись: “Команда свободна от нарядов. На борт приняты как пассажиры Деникин и группа, состоящая из одного русского господина, двух дам и одного ребенка”.

В пятницу 26 марта, когда части Красной армии начали приближаться к Новороссийску с гор и по берегу от Геленджика на юг, паника на берегу достигла пика.

11:15 – звук ВЗРЫВА.

12:00 – выпустили 4 снаряда с зарядом ? по деревне Борисовка.

3:30 – выпустили 8 снарядов X Turret по той же цели.

[На снимке, который сделал мой отец с капитанского мостика, виден столб черного порохового дыма из сопел орудий, а кормовая труба получилась смазанной от толчка.]

Суббота 27 марта была последним днем:

2:40 – приняли на борт приблизительно 500 беженцев.

3:30 – приняли на борт 538 беженцев.

5:24 – подняли якорь (сменили причал). Приняли на борт генерала Хольмана [главу британской военной миссии].

9:20 – генерал Деникин покинул корабль. Приблизительно 850 русских солдат остались на борту.

10:45 – большевики открыли огонь по кораблям в гавани с максимальной дистанции.

10:51 – снялись с якоря, вышли из гавани в Феодосию.

Мой отец видел, как великодушный поступок адмирала Кулме-Сеймура едва не привел к трагедии. На его фотографиях палубы “Императора Индии” выглядят как военный лагерь, кишаций оборванными солдатами в меховых шапках, которые набились туда так тесно, что некуда даже сесть; несколько моряков с банками мясных консервов с боем прокладывают себе путь через толпу. Он рассказывал мне, в каком ужасе был экипаж, обнаружив, что рваные шинели вокруг них кишат вшами, а некоторые солдаты больны тифом. Он рассказывал, как казацкие офицеры – зловещие фигуры в черных гимнастерках, с осиными талиями, в патронташах и с шашками – стояли под мостиком и безмолвно глядели через поручни на русский берег. Именно в этот момент полевая

артиллерийская батарея большевиков на конной тяге галопом проскакала через горный хребет прямо к северной части города, заняла позицию и открыла огонь.

Только одно из орудий было исправно. Из него?то армейцы Троцкого и стали обстреливать боевую эскадру Средиземноморского флота, чья огневая мощь превосходила их собственную в несколько сотен раз. Однако целились они плохо – к счастью для толпы беженцев на палубах, учитывая, что большие боевые корабли не могли им ответить. На борту “Императора Индии” главные орудия – 13,5?дюймовые пушки – торчали всего в нескольких футах над головами толпившихся людей, и выстрелили они, каждого из этих людей снесло бы с палубы в море. Снаряды полевой пушки нерешительно рассекали воздух и поднимали фонтаны брызг, не причиняя ущерба, но было только вопросом времени, когда наводчики пристреляются по дальности. Адмирал решил отходить. Когда боевой корабль вышел в открытое море, он столкнулся с дрейфующей баржей, под завязку набитой солдатами, которую вывел туда и оставил какой?то пароход. Ее взяли на буксир и пришвартовали к “Императору Индии”, который принял на борт ее пассажиров.

Чтобы прикрыть отступление, какой?то миноносец полным ходом устремился обратно в залив и начал обстреливать полевую артиллерию на берегу. К этому времени с юга прибывали все новые части большевиков, которые этот маленький белый русский миноносец встречал огнем от причала цементного завода. Железнодорожная станция загорелась, а затем снаряд попал в цистерны нефтяной компании Standard Oil. На последнем из снимков моего отца виден черный дым, клубами поднимающийся над гаванью, и белый дым, окутавший крыши домов. Снизу он написал: “Город горит”.

Теперь и Деникин, которого перевезли на эсминец, услышал треск пулеметов и грохот артиллерии. Красная армия входила в Новороссийск. “Потом все стихло, – писал Деникин. – Контурсы города, берега и гор обволакивались туманом, уходя в даль... в прошлое”.

Миновала половина второй ночи на московских баррикадах, вторая ночь бдения вокруг Белого дома, когда я услышал, что началась стрельба. Выстрелы раздавались через несколько сотен ярдов, из туннеля под Садовым кольцом за Домом советов. Когда я добрался до места, то увидел следующее.

Бородатый священник шел прямо по крови. Он мог выбирать дорогу, чтобы не наступать в алые озера и реки, текшие по мостовой, но для этого ему пришлось бы отвести взгляд от танков, притаившихся впереди, полускрытых в подземном туннеле. Поэтому он шел вперед напрямик – медленно, вскинув голову, не глядя под ноги.

За священником следовали два захваченных бронетранспортера, и на каждом ехало по десятку людей, вцепившихся в орудийные башни, в стволы и друг в друга. Поскольку управляли бронетранспортерами необученные люди, они ехали на самой низкой передаче, выписывая отчаянные кренделя, пассажиров мотало из стороны в сторону, они хватались за что попало. Гусеницы ползли по щебню и горелому металлу, по стеклу от разбитых троллейбусных окон, затем по наскоро сооруженным прямоугольникам из жердей, уложенным, чтобы уберечь пешеходов от крови. Впоследствии люди вернулись, снова возвели эти ограждения и сделали их местом поклонения.

Процессия вслед за священником медленно двигалась вниз по уклону по направлению к устью туннеля под оглушительный рев танковых моторов, под крики сотен человек, свесившихся через парапеты по обеим сторонам. Они шли вперед, пока носы танков, перешедших на сторону Бориса Ельцина, не уперлись в нос переднего танка, еще сохранявшего верность армейскому командованию. Затем демонстранты вспрыгнули на борт, подняли русский триколор и закричали, чтобы экипаж внутри сдавался.

В ту ночь, с 20 на 21 августа 1991 года, государственный переворот провалился. Большинство иностранных журналистов писали впоследствии, что он был заранее обречен; что он был плохо подготовлен, что его организация была небрежной и хаотичной, а главари пьяными и безвольными. Однако я тоже был там, и я с этим не согласен. В большинстве областей и республик Советского Союза руководство подчинилось заговорщикам или поддержало их. Народ, потрясенный, но безропотный, по большей части не сделал ничего; если бы узурпаторы продержались еще несколько дней, антигорбачевский переворот мог бы состояться. Только решительность нескольких тысяч человек в Москве и Ленинграде, бросивших вызов предводителям заговора, готовым устроить кровопролитие, лишила тех присутствия духа.

На переднем краю московского сопротивления стояла цепь женщин, державшихся за руки. Они перегородили дальний конец Калининского моста, глядя на темное Садовое кольцо, по которому должны были прийти танки. Раз в

несколько минут где-то вдалеке раздавался грохот и рев танковых моторов, затем снова наступала тишина. За спинами женщин, молодых и старых, стояла испуганная группа поддержки, состоявшая из мужей, возлюбленных и братьев с термосами чая, транзисторными радиоприемниками и сигаретами. Когда я спросил этих женщин, почему они здесь стоят и почему они не боятся, они ответили: “Потому что мы – матери”.

Позднее, когда все было кончено, одна моя русская подруга, которая была на баррикадах, сказала просто: “Горстка хороших, храбрых людей спасла Россию”. Я и сейчас думаю, что она была права. Защитники Белого дома стояли вокруг здания русского парламента и вокруг Бориса Ельцина в течение двух дождливых дней и ночей. На третье утро выглянуло солнце, и заговорщики сбежали.

Как показали последующие годы, тому, что горстка хороших и храбрых людей называла “фашизмом”, тогда еще не пришел конец. Чудовище вернулось в октябре 1993 года. Альянс русских националистов и неокommунистов, поклявшихся отомстить за “предательство” старой советской власти, попытался устроить еще один государственный переворот, уже из самого Белого дома. На этот раз парламент и его защитники были вынуждены покориться под обстрелом тех самых танковых дивизий, которые отказались открыть огонь в августе 1991 года. Но Россия не сделала выводов, и сам Ельцин, проявивший такую отвагу и такое умение повести за собой в 1991 году, вскоре выродился в сумасбродного царя, то погруженного в апатию, то вдруг переживающего припадок нелепой жестокости, подобного многим царям, которые так часто ввергали Россию в кризис. При его преемнике, Владимире Путине, Россия вернулась к стабильному, но все более авторитарному режиму, при котором президент контролирует парламент, а государство контролирует СМИ. Методы, применявшиеся в обращении с организованной оппозицией, имели больше общего с советской и царской традицией, чем с западной демократией.

Все это так. Но в одном важном смысле поражение янаевского путча 1991 года было необратимым. Крестьяне, рабочие и солдаты бунтовали и в прошлом; теперь же, в первый раз за всю российскую историю, на улицы вышло либерально настроенное меньшинство – средний класс, который построил собственные баррикады и лицом к лицу встретил танки во имя свободы.

Государственный переворот, направленный против Михаила Сергеевича Горбачева и его перестройки, потерпел крах, но последствия этого переворота уничтожили и самого этого человека, и его политический курс. Горбачев так и не

вернул в свои руки инициативу, перехваченную Ельциным, и оказался в стороне от дел. Перестройку под руководством партии сменили гораздо более амбициозные проекты по введению рыночного капитализма и демократии. В течение нескольких дней деятельность Коммунистической партии Советского Союза была временно прекращена, а здание Центрального комитета на Старой площади оцеплено. Партия была еще не мертва, но обезглавлена, а члены ее парализованы. Ей никогда больше не было суждено мыслить или действовать.

Несколько месяцев спустя сам Советский Союз прекратил свое существование, империя российских царей XIX века распалась на куски, и даже завоевания Екатерины Великой в XVIII веке – ее славная Новороссийская губерния, огибающая все северное побережье Черного моря, – почти все были потеряны. Украина, в состав которой с 1954 года входил Крым, вслед за прибалтийскими республиками – Литвой, Латвией и Эстонией – стала независимым государством. Обширные выходы к западным морям, которые Россия добывала и расширяла так долго и такой дорогой ценой, схлопнулись, превратившись в узкую щель. На Балтийском море Россия потеряла порты Клайпеды, Риги и Таллина, сохранив лишь Калининград (Кёнигсберг) и Санкт-Петербург. На Черное море, которое Краснов назвал “Синим морем – сказкой русского детства”, Россия выглядывала теперь только в Новороссийске, на кубанском берегу, и через мелкие, забытые илом гавани Азовского моря. Портовый город Одесса, новая гавань в Ильичёвске, судостроительные заводы Николаева, порты Балаклавы, Феодосии и Керчи – все это больше не подчинялось Москве. И, что самое главное, то же произошло с Севастопольской военно-морской базой Черноморского флота в Крыму.

Однако в определенном отношении Севастополь никогда нельзя будет отделить от России. Дело не только в том, что именно Россия построила этот величественный каменный город, полный южного простора и воздуха, с синими бухтами, забытыми военными кораблями. Севастополь дал России некоторые из самых сокровенных ее духовных святынь. Севастополь – дважды “город-герой”: этого звания он удостоился за то, что десять месяцев продержался, осажденный нацистами, и за свою двухлетнюю оборону против Британии, Франции, Сардинии и Турции во время Крымской войны. Почитание Севастополя имеет и еще более глубокие корни: по легенде, а возможно, и в действительности, именно здесь в Россию вошло христианство.

Руины Херсона (он же Корсунь, он же Херсонес) покрывают мыс на краю города. Летом семьи приходят сюда купаться, гуськом спускаясь между высокими византийскими колоннами и огибая соты раскопанных зданий, чтобы добраться

до низких скал, галечного пляжа, прозрачного зеленого моря. При его жизни Херсон – сперва греческую колонию, а затем крупнейший торговый город Византийской империи на Черном море – периодически разрушали язычники, нападавшие из степи (татаро-монголы в конце концов уничтожили город в конце XIII века). После его смерти место, на котором он стоял, было опустошено в результате строительства крепости, бомбардировок и прежде всего деятельности первых русских археологов, перепахавших нижние слои почвы в поисках “доказательства” крещения Киевской Руси князем Владимиром в 991 году.

Над этим местом возвышается гигантская базилика, возведенная в 1891 году в ознаменование тысячелетия крещения Руси и восстановленная украинским правительством как национальная святыня. Сейчас считается, что церковь стоит не на том месте, и паломников направляют к развалинам маленького византийского баптистерия в нескольких сотнях ярдов от нее. В его стенах находится глубокое круглое углубление или высохший бассейн с крестом, высеченным на дне. Возможно, здесь и настал тот самый торжественный момент, когда несдержанный тиран превратился в святого и на тысячу лет приковал воображение русских к Черному морю и Константинополю.

Русский государственный национализм всегда грезил о партеногенезе. Он всегда тяготел к мифу об обособленном происхождении, согласно которому русский народ развил свой собственный гений, подобно тому, как огромное семя, следуя предопределению, выпускает свой собственный ствол, листья и плоды. Варяжская версия, подчеркивающая тот исторический факт, что первое русско-славянское государство было основано вокруг Киева на Днепре варягами – захватчиками и поселенцами, – была в немилости у просветителей-славянофилов при последних царях и у сталинских цензоров. “Византийская” версия, рассматривавшая древнерусскую культуру и государственность как иностранное заимствование, пришедшее вместе с православием из Константинополя, тоже переживала тяжелые времена при тех же бюрократах, которые составляли “патриотическую” или “прогрессивную” повестку и решали, какой ученый должен быть отстранен от работы за неблагонадежные взгляды.

При Сталине миф о партеногенезе (или автохтонности) был доведен до крайности, граничившей с безумием. Из советской археологии было вычищено само понятие миграции. Культурные изменения, утверждали новые партийные бюрократы от археологии, происходили путем внутреннего развития оседлых

сообществ, а вовсе не в результате появления новых популяций с востока или с запада. Словосочетание “Великое переселение народов” (Völkerwanderungen), описывающее миграции населения Евразии после крушения Западной Римской империи, было под запретом. Крымские готы, к примеру, не были объявлены германскими захватчиками, утверждалось, что они “автохтонно и стадиально образовались из ранее бывших здесь (то есть в Крыму) племен путем скрещивания”[12 - В. Равдоникас. Пещерные города Крыма и готская проблема в связи со стадиальным развитием Северного Причерноморья. ИГАИМК, т. XII, вып. 1-8. Готский сборник. Л., 1932. Цит. по: М. А. Миллер. Археология в СССР. Мюнхен, 1954.]. Хазары отныне не были уже тюркскими кочевниками с востока, а превратились в коренных обитателей Придонья и Северного Кавказа: “...результат автохтонного этногенеза, образовавшись путем скрещивания местных племен”[13 - М. Артамонов. Очерк древнейшей истории хазар. Л., 1936. Cit. ibid.]. Татар рассматривали теперь как коренных жителей Поволжья. Еще более абсурдным образом скандинавские викинги, создавшие первое “русское” государство вокруг Киева, были заново идентифицированы как славяне.

С начала 1930-х годов и до конца 1950-х партийные функционеры, заведовавшие советской археологией, спроектировали и возвели небоскреб шовинистического слабоумия. В его фундаменте лежало утверждение, что вся территория современной России, Украины, Восточной и даже Центральной Европы начиная с середины железного века, то есть, например, с 900 года до н. э., была населена протославянскими народностями. Сталин выстрелил в воздух из своего револьвера – и все прошлое черноморских степей, представляющее собой историю непрерывных миграций и этнического смешения, в ужасе замерло как вкопанное и обернулось историей статичного социального развития.

Выстрелы были не только метафорическими. Михаил Миллер, русский археолог, нашедший убежище на Западе после Второй мировой войны, в своей книге “Археология в СССР” оставил свидетельство о судьбе своих коллег между 1930 и 1934 годами, когда насаждалась эта новая установка. Около 85 % представителей профессии пали жертвами чисток. Большинство из них было отправлено в лагеря либо в ссылку в Сибирь или Азию. Некоторые были расстреляны или покончили с собой, когда за ними пришли из НКВД. Но большинство, включая блестящего ученого, брата Михаила Миллера Александра, сгинуло в ГУЛАГе.

Только долгое время спустя после смерти Сталина прошлое южной степи осмелилось снова сдвинуться с места; поначалу – с большой опаской. Верный

приверженец партии А. Л. Монгайт получил указание написать книгу, рассчитанную на западного читателя, которая отчасти возместила бы ущерб, нанесенный разоблачениями Миллера. “Археология в СССР” Монгайта, опубликованная в английском переводе в 1961 году, затрагивала то, что он изящно назвал “скифской проблемой”: тот очевидный факт, что скифы пришли в степь между Днепром и Доном откуда?то еще. Он позволил скифам мигрировать, но лишь чуть-чуть: “Они пробили себе путь из нижнего течения Волги”, где, подразумевал Монгайт, они самозародились в какой-то момент в бронзовом веке. Истина, известная к этому времени гуманитарной науке уже без малого пятьдесят лет и состоящая в том, что скифы были союзом индоиранских племен, пришедших из Средней Азии, была ему все еще не по зубам.

Сегодня теория Великого переселения народов снова прочно обосновалась в российской и украинской археологии, но и после возвращения на ней все еще болтаются ошметки националистической историографии XIX века. До сегодняшнего дня не пользуются признанием те, кто утверждает, что в русской исторической литературе о “цивилизации” и “варварстве” существует общий перекосяк, и задается вопросом, почему степные кочевники и неславянские культуры, с которыми сталкивалась Киевская Русь, а затем и средневековое российское государство, возникшее вокруг Новгорода и Москвы, по-прежнему списываются со счетов как отсталые и “варварские”. Столетия татаро-монгольских завоеваний, начавшихся в начале XIII века, для большинства русских остаются “татаро-монгольским игмом”, то есть временем, когда русские правители удерживали аванпосты христианской цивилизации под напором абсолютного дикарства и хаоса. Но эта традиционная версия сегодня обнаруживает все более отчетливые признаки русскоцентричного мифа.

Невозможно отрицать жестокость монголов на войне или опустошение, которое производили в сообществе, живущем натуральным крестьянским хозяйством, примерно полмиллиона лошадей, следовавших с одной только армией кочевников. Однако монголы имели доступ к грамоте, а их политические, военные и административные органы были в определенном отношении более развитыми, чем в Новгородской Руси. Когда русские культурные пессимисты по своему вечному обыкновению винят в недостатке демократии у своей нации “монгольское наследие”, они упускают из виду традицию курултая – собрания татаро-монгольской знати и вождей племен, съезжавшихся, чтобы избрать нового хана. Это было ограниченное, олигархическое распределение власти, но в средневековой Руси не было и этого. (Поляки, избиравшие своих королей на сейме, то есть на общем собрании шляхты на поле под Варшавой, всегда приводят этот обычай в доказательство своей приверженности “западной

демократии”. Эта практика была введена в Польше только в конце XVI века, и за образец тогда была взята олигархия Римской республики, но в то же время это было, очевидным образом, формой курултая, вероятно, позаимствованной у крымских татар.)

При Сталине, который с равной враждебностью относился к религии и к любым упоминаниям о том, что русская государственность имела иностранные корни, византилисты превратились в вымирающий вид. (Еще вернее были обречены только приверженцы “варяжской” версии, которые обвинялись в том, что сфабриковали германское происхождение нации.) Наконец, в эпоху Леонида Брежнева наступило что-то вроде порочного облегчения, когда евреи, уволенные с других университетских кафедр, были переведены – независимо от их прежней научной специальности – на незаметные семинары по истории Византии. Эта дисциплина, прежде полностью запрещенная, в указанный период приобрела статус своего рода интеллектуального концентрационного лагеря.

Сейчас, после падения Советского Союза, византистика вошла в большую моду в России. Именно по этой причине Мировой конгресс византистов прошел в Москве в августе 1991 года, за две недели до государственного переворота, и открывал его патриарх Алексий, высокопарно изъявлявший почтение к наследию Византии. Россия смотрела на Запад в поисках нового курса и отправляла карго-культ, призванный принести ей западное процветание и рыночную экономику. Но в своем поиске новой идентичности русские сходили на черноморский берег и глядели в сторону Константинополя.

Это означало, что в действительности проходило два конгресса. Первый из них представлял собой затейливую случку и увлекательный брачный танец западных византистов, которые приходят в состояние половой охоты только раз в четыре года; на этом конгрессе фракции собирались вокруг великого и ужасного профессора Армина Хольвега из Мюнхена, редактора *Byzantinische Zeitschrift*, и вокруг профессора Владимира Вавжинека из Праги, редактора конкурирующего издания *Byzantinoslavica*. Как бы это ни было забавно, никто в Большой аудитории Московского университета не дерзал высмеивать эту ситуацию прилюдно. Таковы торжественные мероприятия. Как было замечено в одной переводной грузинской статье, посвященной агиографии: “В христианстве смеется смерть, дьявол, русалки надрывают животы со смеху, но христианское божество не смеется никогда”.

Другой конгресс представляла собой толпа молодых русских (некоторые из них были в черных рясах), которые заполнили аудитории, преисполненные решимости найти ни много ни мало свои души, свои корни, свой собственный русский путь к откровению и святости. Я проник на одно из их собраний: маленькое помещение на пятом этаже было так набито людьми, что мне пришлось перешагивать через слушателей, сидевших на полу, чтобы прислониться к стене. Вот что я записал в блокноте.

Марина сидя читает на устаревшем французском, рукава ее белой рубашки закатаны. Каждый лист ее записей обтрепан по краям и смят; закончив страницу, она сбрасывает ее в стопку. У нее длинные, спутанные и сальные волосы и руки большие, как у мужчины. Все присутствующие абсолютно поглощены ее чтением. За окном, за темно-зеленой полосой леса, черной стеной встает грозная туча, а на ее фоне блестит серебром нагромождение многоэтажек московской окраины.

Она говорит о христологических конфликтах России и Запада. Когда она заканчивает, раздаются бурные аплодисменты. Затем выступает отец Иларион[14 - Иларион (Алфеев), ныне митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. - Прим. пер.] - молодой, степенный, гладкие волосы посередине разделены пробором. Он спрашивает: "Как мне лучше говорить - по-английски или по-русски?" Эта публика обычно так уважительно, так внимательно относится к иностранцам. Но сейчас вся аудитория хором умоляет: "По-русски! По-русски!"

Отец Иларион начинает. Он читает стихи, свой собственный русский стихотворный перевод с греческого "Гимнов Божественной любви" Симеона Нового Богослова (византийского мистика и святого XI века). И на этот раз эти мальчики и девочки снова захвачены его чтением. Некоторые глядят в пол. Некоторые кусают кулак. Когда отец Иларион заканчивает, наступает тишина, а затем неуклюжие рукоплескания. Марина уставилась на него, осоловевшая, как будто только что очнулась ото сна. Потом она поворачивает голову и смотрит в окно, где появилась радуга.

Много месяцев спустя, вернувшись в Западную Европу, я разыскал тексты "Гимнов Божественной любви", которые оказались совершенно незаурядными. Они описывают не человека, созданного по образу и подобию Божьему, а Бога,

созданного по образу и подобию человеческого, и чем-то напоминают мистическую поэзию германского поэта XVII века Ангелуса Силезиуса (Иоханнеса Шефлера). Но для молодых русских “Гимны” – как дождь в пересохшей, запретной и почти забытой области чувств:

И мы вместе (с тем) сделаемся Богами, сопребывающими с Богом, совершенно не усматривая неблагообразия в теле (своем), но все уподобившись всему телу – Христу, а каждый из нас – член (его), весь Христос есть.

Итак, узнав, что таковы все, ты не утрашился или не постыдился [признать], что и палец мой – Христос и детородный член? – Но Бог не устыдился сделаться подобным тебе, а ты стыдишься стать подобным Ему? – Не Ему подобным стыжусь я сделаться, но чтобы Он (стал) подобным постыдному члену; я заподозрил, что ты изрек хулу. – Худо, следовательно, ты понял [меня], ибо не это – постыдное. Члены Христовы суть и скрытые (члены), ибо они бывают покрываемы; и потому они важнее прочих (I Кор. 12, 22?т24), как незримые для всех, сокровенные члены Сокровенного, от Которого в Божественном сочетании дается и семя Божественное[15 - Преподобный Симеон Новый Богослов. Божественные гимны / Перевод иеромонаха Пантелеимона [Д. П. Ясенского]. Сергиев Посад, 1917. С. 261-262.].

Глава вторая

Но как нам быть, как жить теперь без варваров?

Они казались нам подобьем выхода.

Константинос Кавафис. В ожидании варваров[16 - Перевод Геннадия Шмакова под редакцией Иосифа Бродского.]

На берегах Черного моря родились сиамские близнецы по имени “цивилизация” и “варварство”. Именно там греческие колонисты встретились со скифами. Оседлая культура маленьких приморских городов-государств столкнулась с передвижной культурой степных кочевников. Люди, которые на протяжении смены бесчисленных поколений жили на одном месте, выращивая зерно и

занимаясь рыбной ловлей в прибрежных водах, теперь встретились с людьми, жившими в кибитках и шатрах и бродившими по безграничным просторам степных пастбищ вслед за своими стадами и табунами.

В человеческой истории это была не первая встреча землепашцев и пастухов: начиная с неолитической революции, начала оседлого земледелия, пересечений между двумя этими образами жизни было несчетное множество. Не было это и первым случаем, когда представители городской культуры стали свидетелями кочевого образа жизни: подобный опыт уже имели китайцы на западных границах своей империи Хань. Но от этого конкретного столкновения берет свое начало идея “Европы” со всем присущим ей высокомерию, со всеми ее притязаниями на превосходство, узурпацией первенства и древности, всеми претензиями на врожденное право господствовать.

Близнецы “цивилизация” и “варварство” были выношены и рождены в греческом, прежде всего афинском, воображении. Они, в свою очередь, дали жизнь безжалостной династии понятий, которая по сей день держит в своей незримой власти западное сознание. Византийская и Римская империи оправдывали свои имперские войны защитой “цивилизованного” порядка от “варварского” примитивизма. Так же поступали в своей колониальной экспансии Священная Римская империя, Испания, Португалия, Голландия, Франция, Италия, Германия и Великобритания. К середине XX века можно насчитать мало европейских национальных государств, которые в то или иное время не представляли себя “аванпостом западной христианской цивилизации”: это делала Франция, имперская Германия, империя Габсбургов, Польша, пестовавшая собственный образ *przedmurze* (бастиона), даже царская Россия. В рамках каждого из этих мифов, созданных национальными государствами, “варварство” определялось как состояние или нормы поведения их непосредственных восточных соседей: для французов варварами были немцы, для немцев – славяне, для поляков – русские, для русских – монгольские и тюркские народы Средней Азии, а позднее китайцы.

Вынашивались эти близнецы долго. Первые греки достигли северного побережья Черного моря и основали там постоянные торговые поселения в VIII веке до н. э. Однако прошло еще несколько сотен лет, прежде чем сиамские близнецы появились на свет – прежде чем “другой” стало означать “низший” и прежде чем инакость степных народов, которых греки встретили на Черном море, превратилась в зеркало, в котором греки приучились видеть свое собственное превосходство. Это событие – внезапный понятийный прорыв –

произошло в Афинах в первой половине V века до н. э., при Перикле, когда Афины отразили вторжение персов и сами превратились в имперскую державу.

Это изменение в восприятии греками других народов изобрели афинские интеллектуалы, в первую очередь драматурги, а потом “продали” его широкой публике. Сами колонисты имели к этому мало отношения или не имели вовсе. Их предки были не из Афин и даже не с Пелопоннеса, а являлись по большей части ионийскими греками с островов и из прибрежных городов Малой Азии. В любом случае колонистам приходилось быть прагматиками, чтобы выжить за краем изведенного мира. Не идеология вела их и их отцов в Босфор и через все Черное море, а рыба. Уже к VII веку эгейские города-государства начинали истощать скудную пахотную землю вокруг своих стен, и именно голод толкнул их корабли на север и на восток.

Поначалу колонисты жили вонючим, но доходным промыслом по обработке рыбы. Некоторые из самых ранних их поселений стояли в устьях больших рек, впадавших в мелководную северо-западную часть Черного моря. Тира и Никоний находились в устье Днестра, западнее современной Одессы, а Ольвия – в устье Южного Буга, в месте его впадения в дельту Днепра в нескольких милях от моря. Такое расположение не позволяло им перехватить два главных глубоководных рыбных потока Черного моря – миграции хамсы и бонито. Но все три города стояли на берегах лиманов, гигантских пресноводных лагун, образованных этими реками перед впадением в море, и древние греки полагались на речную рыбу, которая легко ловилась сетями: осетра, лосося, сельдь и судака. Из тех же эстуариев, особенно из дельты Днепра, в изобилии добывалась и соль для засола.

Позднее поселенцы начали выращивать пшеницу на экспорт. Почти три тысячелетия, пока североамериканская пшеница не завоевала мировые рынки в конце XIX века, зерно, выращенное в черноморских степях и отправлявшееся по морю из портов северного побережья, кормило все городское население Средиземноморья и дальше: греческие города, Рим, Византию, Египет, средневековую Италию, даже Великобританию в годы промышленной революции. К V веку до н. э., когда Ольвию посетил Геродот, эта греческая колония уже убедила окрестные скифские поселения возделывать землю и выращивать зерно на продажу. Многие города-государства, и прежде всего Афины Перикла, попали в опасную зависимость от импортного степного хлеба.

Что касается Геродота, то он был релятивистом. Хотя по рождению он был ионийским греком, он провел некоторое время в Афинах и был, по всей видимости, другом драматурга Софокла. Однако его “История” избегает того культурного превосходства, которое вошло в моду среди афинских драматургов: “Каждый народ убежден, что его собственные обычаи и образ жизни некоторым образом наилучшие <...> обычай – царь всего”.

Невзирая на собственные взгляды, Геродот не мог помешать писателям-националистам, стремившимся доказать, что варвары – люди не просто иные, а порочные и выродившиеся, использовать его труд как этнологический источник. Да и сам Геродот, пусть и несравнимо изящнее, был не прочь изобразить инакость негреческих народов таким образом, который выставлял греческую принадлежность и греческую идентичность в гораздо более блестящем, лестном свете. Однако Геродот, в отличие от афинских интеллектуалов, действительно посетил и увидел многие из этих других культур. Он никогда не позволил бы себе такой вульгарности, как классифицировать их всех без разбору как “варваров” или демонизировать, подобно Эсхилу и Софоклу.

Люди привыкли смотреть на Геродота как на историка и подвергать его сомнению. Но теперь нам следовало бы рассматривать его как политика и доверять ему.

Так сказал руководитель раскопок в Ольвии Анатолий Ильич Кудренко. Мы стояли за воротами Ольвии – псевдогреческими воротами, вырезанными из бетона, – и разговаривали под ярким солнцем ранней весны. Господин Кудренко, как и большинство директоров археологических музеев в России и на Украине в наши дни, находился в стесненных обстоятельствах. Средства на раскопки, поддержание музея и зарплату сотрудникам, которые раньше рекой текли из московской Академии наук СССР, а позднее – из украинской Академии наук в Киеве, теперь сочлись бесполезной тонкой струйкой. Он был похож на капитана одного из тех кораблей, которые неподвижно ржавеют на приколе вдоль набережных Одессы, потому что никто не может позволить себе топливо. Подведомственные ему руины были осквернены остовами брошенной сельскохозяйственной техники и обвалившимися сараями. Куры паслись среди черепков черной глянцевой греческой керамики. Крестьяне из местного колхоза грабили раскопки так непринужденно, что даже оставляли свои лопаты на ночь в котлованах, в полной готовности для завтрашнего мародерства.

Господин Кудренко был уверен, что Геродот был не только путешественником и историком, но и агентом на службе у Перикла. Черноморское побережье он посетил не из собственного любопытства, а потому что был послан туда в рамках кампании Перикла, стремившегося убедить Афины в необходимости экспансии за море, чтобы обеспечить снабжение продовольствием. Ранее Геродот был связан с проектом Перикла по основанию колонии Фурии в Южной Италии, где впоследствии поселился и, предположительно, похоронен.

Его задача на Черном море, по мнению Кудренко, состояла в том, чтобы возбудить общественный интерес к греческим колониям, находившимся там, особенно к колониям вдоль берегов “Фракии” и “Скифии” на западном и северном берегах Черного моря. Цель состояла в том, чтобы обосновать задуманный Периклом проект морской экспедиции, которая поместила бы эти города под протекторат Афин, обеспечила им защиту против нападений скифов и захватила контроль над их хлебной торговлей. Именно за это (утверждает Кудренко) афинский полис наградил Геродота огромной суммой в десять талантов: это была не просто премия писателю за интересную книгу, а скорее средства на имперское освоение земель.

Понтийская экспедиция отправилась в плавание в 447 году до н. э., и греческие колонии, включая Ольвию, стали частью недолго просуществовавшей афинской морской империи. Однако Перикл был не просто военным освободителем или завоевателем; этого не допускали уже слишком сложные и интересные отношения, установившиеся к тому времени между греческими городами и скифами. Не пытался он и навязать этим городам афинскую демократию, как сделали Афины несколькими годами ранее с эгейскими городами-государствами, попавшими под их влияние. Ольвия (“город благоденствия”) была в своем роде демократической до появления скифской угрозы, в виду которой некоему Павсанию удалось получить должность особого “избранного тирана”. Перикл – скорее дипломатическим путем, нежели силой – добился компромисса, согласно которому Ольвии гарантировалась политическая независимость как “автономной тирании”, но скифская империя сохраняла частичный контроль над экономикой. К этому времени именно скифы, а не греки, занимались выращиванием пшеницы и поставками меха и кожи и сплавляли все это в город по рекам. Демократию и полную независимость Ольвия вновь обрела только примерно через 50 лет, когда и Афинская, и Скифская империи пришли в упадок, но даже тогда ее политика оставалась нестабильной. Граждане Ольвии, наделенные политическими правами, составляли меньшинство ее населения, разросшегося до 30 тысяч человек, а впоследствии две богатых династии судовладельцев – семьи Геросонта и Протогена – фактически управляли всем и

устанавливали налоги, которые ввергали множество других граждан и купцов в долги и нищету.

Однако, даже если Кудренко прав или прав лишь отчасти, Геродот был далеко не просто своеобразным Сесилом Родсом[17 - Сесил Джон Родс (1853–1902) – британский колониальный политический деятель и финансист. – Прим. пер.] V века до н. э. В своей книге *The Mirror of Herodotus* (“Зеркало Геродота”) французский ученый Франсуа Артог сознательно обходит вниманием старые споры о том, насколько Геродот был точен в своем описании Скифии, и изучает его “Историю” как “дискурс инакости”.

Центральную часть “Истории” занимает отчет о Греко-персидских войнах – десятилетней борьбе Афин с Ахеменидами, персидскими царями, которые захватили эгейские земли между 490 и 480 годами до н. э. и были разбиты у Марафона и при Саламине, и последовавшем за тем контрнаступлении греческих городов под предводительством Афин. Во время этого величайшего экзистенциального кризиса афинянам пришлось заново спросить себя, кто они такие и почему за различие между ними и их врагами стоит умирать. В конце концов, они нашли на этот вопрос имперский ответ: всеобъемлющий “дискурс превосходства” над “варварами”. Геродот так далеко не замахивался, но то, что он считал нужным поведать о скифах, было призвано усилить действие его летописи Персидских войн – как можно более наглядно определить афинскую и греческую идентичность через сравнение с ее мифическими “противоположностями”.

Кочевничество, к примеру, противопоставлялось греческому патриотизму городов-государств, который предполагал оседлость, преемственность, любовь к месту. Как замечает Артог: “Как такие люди, как греки, всегда декларировавшие, что единственная стоящая жизнь – это жизнь городская, представляли себе образ скифа, жизнь которого по самой своей сути заключалась в непрерывном движении?” Афиняне настаивали на том, что являются автохтонами, то есть биологически укоренены на своем месте: “Нетрудно предугадать, что дискурс автохтонности не мог не отразиться на репрезентации кочевничества и что афинянину, этому воображаемому автохтону, был необходим столь же воображаемый кочевник. Скиф хорошо подходил на эту роль”.

Однако Геродот, подобно некоторым более поздним классическим писателям, рассматривал кочевничество как военную стратегию, а не как образ жизни,

противоположный греческой оседлости. Его скифы были неодолимы и неприступны, по-гречески – αρογοί. Геродот писал: “Скифы обладают одним, но зато самым важным для человеческой жизни искусством. Оно состоит в том, что ни одному врагу, напавшему на их страну, они не дают спастись; и никто не может их настичь, если только сами они не допустят этого”. Вместо того чтобы стоять на месте и сражаться, они отходили в свои бескрайние земли, увлекая за собой врага до тех пор, пока тот не начнет голодать или не отчаится. Как говорит Артог, они переворачивали нормальные представления с ног на голову, превращая охотника в жертву. Скифы не обороняли от захватчиков стены какого-нибудь города или столицы – они просто рассеивались. У них не было ни города, ни даже самого понятия “центра”, поскольку немногие конкретные места, имевшие для скифов значение, – такие, например, как описанные Геродотом царские могилы “в Геррах”, куда их царей отвозили хоронить на повозках, – находились на дальней периферии их владений.

Почему Геродот восхищается этим? Здесь вся его литературная операция ловко выворачивается наизнанку. Он восхищается скифской стратегией, потому что она позволила одержать верх над персами. Дарий I Персидский, позднее захвативший Грецию, впервые вторгся в Европу в 512 году до н. э. в ходе карательной экспедиции против скифов. Он построил мост через Босфор, затем через Дунай, а затем (согласно Геродоту) прошел через все северное побережье Черного моря до самого Дона в тщетной надежде заставить врагов сражаться и победить их. К своему разочарованию, со временем он был вынужден удалиться восвояси, оставив скифов непобежденными.

Таким образом, скифы, которые в столь многих отношениях представлены как прямая противоположность афинян, внезапно оказываются в чем-то их подобием – они тоже одержали верх над персами. Мало того, они сделали это тем же способом, к которому позднее прибегнут афиняне, согласно геродотовскому описанию Персидских войн: афиняне одолели захватчиков, не пытаясь защищать свою территорию, но выйдя в море на кораблях и сделавшись αρογοί.

В последние годы возникла новая бодрящая псевдонаука под названием “номадология”. Человечество, говорят ее представители, вступает в новую эпоху движения и миграций, великого переселения народов, которое на сей раз охватывает не только Евразию, но и весь мир. Субъектами истории, которыми некогда были оседлые земледельцы и горожане, теперь стали мигранты, беженцы, гастарбайтеры, люди, ищущие политического убежища, городские

бездомные.

Профессор Эдвард Саид в своей Лотианской лекции в Эдинбурге в 1992 году утверждал, что факел освобождения был подхвачен у оседлых культур “бездомными, децентрализованными, изгнанническими силами, <...> олицетворением которых является мигрант”. Польский художник Кшиштоф Водичко, который позаимствовал многие свои идеи из вышедшего в 1980 году “Трактата о номадологии” Жюльена Делёза и Феликса Гваттари, в своей работе изучает, как орды обездоленных оккупируют сегодня городские общественные пространства – площади, парки или вестибюли железнодорожных вокзалов, когда-то возведенные торжествующим средним классом в память о своем завоевании новых политических прав и экономических свобод. Водичко полагает, что такие оккупированные пространства становятся новыми агорами (агорой называлась мощеная площадь для собраний в центре греческого полиса) и их следует использовать для публичных заявлений: “Художник <...> должен научиться действовать, как бродячий софист в полисе мигрантов”. Он спроектировал для бездомных серию странных машин, призванных служить укрытием, средством передвижения и общения, которые отчетливо – даже если и непреднамеренно – напоминают о том, что поразило Геродота в скифах-кочевниках и в их аroγiα. Его Poliscar, к примеру, ведет свое происхождение от тележки супермаркета и, даже более явно, от танка. Но в то же время это скифская кибитка, передвижной дом для тех, у кого нет постоянного пристанища, и кто бесконечно скитается взад-вперед по общественным пространствам, по бетонной городской степи.

Критик Патрик Райт, друг Водичко, подтверждает, что предком Poliscar’а был танк, и считает его интеллектуальными крестными отцами очень разных людей, размышлявших о свойствах танка как средства передвижения, – от генерала Дж. Ф. Ч. Фуллера, отца современной бронетанковой войны, до французского культуролога Поля Вирильо, с его социологической концепцией скорости. Однако он пишет, что “Как «кочевая машина войны» [Poliscar] предназначена скорее для выживания, разведки и уклонения от столкновения, чем собственно для боя <...> он ближе к преследуемому зверю, который учится сосуществовать со своими врагами, чем к охотнику, выходящему в поисках добычи <...> это орудие «маневра» как противоположности «боя», мобильности, внезапного исчезновения и появления вновь, скорее разведки, чем жестокого и неостановимого наступления”.

Здесь “жертва становится охотником”, в точном соответствии с тем, что увидел Франсуа Артог в отчете Геродота о скифах. Это та самая техника, с помощью которой слабые становятся сильнее своих гонителей: рассеяние, децентрализация, быстрое перемещение в пространстве, то есть все то, что составляет суть кочевничества. Когда-то скифы при помощи таких маневров обыграли выстроенную в шеренги, медленно маршировавшую пехоту персидского царя Дария. Теперь, по мнению Водичко, Poliscar’ы собьют с толку Департамент полиции Нью-Йорка, строящийся в боевом порядке против бездомных бродяг на тротуарах вокруг Томпкинс-сквер-парка, и ускользнут от него. Завтра наступит черед таможенников и пограничников Европейского союза: их перехитрят десять миллионов нелегальных иммигрантов – неуловимых, стремительных, аporoi, – которые будут на них “охотиться”.

Недавно возле старой греческой колонии Истрия в устье Дуная было найдено великолепное золотое кольцо с печаткой. На нем изображена неизвестная богиня с короной на убранных в высокий хвост волосах, глядящаяся в зеркало, и выгравировано имя – SKYLEO.

Это один из тех редких в археологии случаев, когда владельца утерянной и найденной вещи удастся установить. Скил был главным героем одной из историй, рассказанных Геродотом. Это история о другом, более зловещем роде аporia: о невидимой границе между разными образами жизни и о непроницаемости одной культуры для другой.

Скил был скифским царем, которого ослепило величие греческого города Ольвии. Он начал жить двойной жизнью: за городскими стенами был степным правителем, стоявшим во главе сложного традиционного общества с его кибитками, стадами и обрядами, но в городе он становился греком. В Ольвии у Скила была греческая жена, входя в ворота, он менял свое платье кочевника на свободные эллинские одежды. Согласно Геродоту, он построил в городе роскошный дворец (хотя ничего подобного обнаружено не было: частные дома в Ольвии, в отличие от огромных общественных зданий и храмов, представляют собой скромные одноэтажные постройки без особенных украшений).

Как-то раз группа скифов ухитрилась заглянуть через стены Ольвии во время празднования дионисийских мистерий. Там они увидели Скила, который в вакхическом одеянии и с атрибутами Диониса в танце кружился по улицам во главе священной процессии. С их точки зрения (или, скорее, с точки зрения

Геродота, реконструирующего их реакцию), это зрелище означало, что Скил перешел черту, которую нельзя было переходить: согласившись принять посвящение в таинства Диониса, он предал скифскую идентичность и стал греком. Когда они принесли это известие домой, брат Скила захватил власть, и Скил бежал. Он направился на юго-запад и попросил убежища у фракийцев, живших на другом берегу Дуная, который служил границей между их землями и владениями скифов. Однако скифы держали в заложниках фракийского князя, и фракийцы согласились выдать Скила в обмен на него. Скил был казнен собственным братом на берегу реки близ Истрии.

Золотое кольцо почти несомненно принадлежало Скилу. Но это была случайная находка. Отдал ли он его перед смертью, или оно было сорвано с его мертвого пальца после казни, или похищено гораздо позже из его могилы, мы никогда не узнаем.

Скил погиб, поскольку безуспешно попытался жить одновременно в двух отдельных мирах и отказывался выбирать между ними. Он мог бы выжить, если бы открыто объявил себя эллином и остался в Ольвии, или если бы провел скифское войско через городские ворота, чтобы сжечь и разграбить ее, или если бы просто усвоил греческий образ мышления, для того чтобы “модернизировать” Скифию. В этом третьем случае он стал бы претендентом на статус героя в точном соответствии с теорией, которую выдвинул Г. М. Чедвик в своей книге “Героическая эпоха” девятнадцать лет назад.

Чедвик полагал, что контакт между “высокой цивилизацией” и “родоплеменным” обществом (или между “центром” и “периферией”) часто приводит к мутации в менее развитой культуре. Традиционный вождь под воздействием “возрастающих возможностей торговли, путешествий и накопления богатства” может поддаться соблазну ускользнуть из сдерживающей его паутины традиционных обычаев и обязанностей и сделаться лидером нового типа – уже не незаконным, безжалостным странствующим солдатом и завоевателем, ведущим банду своих товарищей-воинов в военные походы. Финн Маккул со своими фениями или нордический герой со своей верной дружиной копьеносцев были для Чедвика примерами подобной происходившей на периферии героической мутации, которая заменяла “узами верности” узы родства и обычая. И все же Скил, имея в своем распоряжении все эти “возросшие возможности” именно в такой момент соприкосновения культур, не обнаружил ни малейшего намерения пуститься в странствия в качестве мускулистого главаря шайки. Если в общих чертах следовать теории Чедвика,

можно было бы ожидать, что варварская внутренняя природа Скила устремится к новым горизонтам, открытым перед ним Ольвией. Но Скил, увидев два противоположных образа жизни, захотел сохранить оба в неизменном виде и полностью разделить каждый из них. Скил – своего рода свидетель обвинения одновременно и против древних теорий “варварства”, и против более современных теорий о раболепии “периферии” по отношению к “центру”. Он довольно сильно напоминает некоторых главарей горных кланов в Шотландии конца XVII–XVIII веков, живших двойной жизнью: как лощеные джентльмены в Эдинбурге и (позже) Лондоне и в то же время как традиционные предводители старозаветного гэльского общества у себя дома. Маклеод с острова Разей и “молодой Колл” Маклейн, встреченные Сэмюэлем Джонсоном и Джеймсом Босуэллом во время их путешествия на Гебридские острова в 1773 году, по всей видимости, достигли подлинного равновесия в этом дуализме.

Однако шотландский мир кельтов уже находился на ранних стадиях своего исчезновения, и несколькими десятилетиями позже сохранять подобное равновесие стало уже невозможно, поскольку традиционные главы шотландского общества, поддавшись соблазнам и принуждению культуры метрополии, начали использовать своих вассалов как источник наличности. Спустя всего полвека после того, как доктор Джонсон посетил Гебридские острова, в ходе изгнания шотландцев, арендаторов начали выселять с высокогорья и заменять их овцами; к 1820 году немногие из главарей кланов по-прежнему бегло говорили по-гэльски, а шотландскую одежду и обычаи они использовали уже практически как маскарадный костюм. Скифия, с другой стороны, просуществовала еще почти пятьсот лет после гибели Скила.

Сказка о Скиле – это чрезвычайно черноморская история. Она повествует не только о столкновении с новым, но и о дистанции между мирами. Эта дистанция может быть культурной, то есть границей в сознании, но она может быть и физической. Суть в том, что человек не может раздвоиться, но, преодолевая подобную дистанцию, становится в конце этого путешествия другим человеком. Энтони Пагден в своей книге “Столкновения Европы и Нового Света” [European Encounters with the New World] предполагает, что сама длительность морского путешествия из Европы в обе Америки, опыт месяцев, проведенных в страхе и лишениях в необъятной водной пустыне Атлантического океана, создавали у первых испанских колонизаторов ощущение перемещения из одной вселенной в совершенно “иную”, где прежние ожидания и моральные нормы были уже неприменимы. Впоследствии было возможно проделать и обратный путь, но путешественник уже не мог сойти на берег в Кадисе или Барселоне тем же человеком, каким отбыл годы назад. Антонио де Уллоа говорил об “Индиях” XVIII

века как о “другом свете”. Вильгельм де Рубрук, монах, добравшийся до центра татаро-монгольской империи в XIII веке, думал после своей первой встречи с кочевниками Золотой Орды в донских степях, “будто <...> попал в какой-то другой мир”.

Греки, достигавшие северного побережья Черного моря, тоже чувствовали, что они переместились между двумя разными мирами. Они совершили это путешествие, вероятно, однодневными переходами, не направляясь напрямик через открытое море, а двигаясь вдоль берега от одной якорной стоянки до другой. Но Средиземное море не подготовило их к суровости черноморской погоды, к неистовым порывам относного ветра, бурям или зимним льдам, и Черное море предстало перед ними как враждебная пустота – черная дыра во времени и пространстве – в противоположность знакомому Эгейскому морю с его островными отмелями. Когда же они прибывали и с трудом выбирались на сушу, они обнаруживали, что ютятся на краю другого моря – степи.

Поблизости от современного города Херсона в низовьях Днепра есть место под названием Аскания-Нова. Затейливым термином “Аскания” собиратели древностей называли в XIX веке Пруссию: здесь, еще до русской революции, некий знатный немецкий помещик учредил заповедник, чтобы сохранить для будущих поколений участок древней, невозделанной степи с ее травами, злаками и птицами.

Этот барон поступил мудро. Сегодня почти ничего не осталось от той древней украинской и южнорусской степи, которая была миром скифов, сарматов и всех пастухов-кочевников, приходивших им на смену, и которая нетронутой дождала во многих регионах до конца XIX и начала XX века. Понтийскую степь, одну из формообразующих сред Евразии, пожрал трактор, который оставил по себе только гигантскую плоскую пашню, разделенную рядами серебристых тополей, бегущих вдоль дорог от горизонта до горизонта.

Даже Аскания-Нова, ее последний осколок, едва-едва пережила хаос, последовавший за крушением Советского Союза. Колхозы по периметру заповедника пасли там овец и свиней; уровень воды в ближайшем оросительном канале упал по недосмотру; низко летавшие самолеты с военной базы пугали населявших ее тварей. Случались опустошительные пожары. Мирные дни порядка, когда научные сотрудники следили за заповедником и встречали группы школьников из Одессы, Херсона и Николаева, стали далеким воспоминанием. История Ольвии повторилась и здесь: не было больше ни

государственных денег, чтобы платить зрителям, ни горючего для автобусов, возящих посетителей, никакой защиты от распространяющейся нищеты и беззакония, при котором каждый хватается за то, что плохо лежит.

На что была похожа степь? Антон Чехов вырос в нескольких сотнях миль отсюда, в Таганроге на Азовском море: мальчиком он ложился на мешки с зерном в повозке на бычьей тяге и медленно, глядя в небо, плыл по этому океану на протяжении дней и ночей. Образ океана, очевидный и почему-то никогда не звучащий как клише, приходит в голову всем путешественникам, пишущим о своем странствии, при взгляде на бесконечный, по видимости, бесплодный и ровный горизонт невозделанной, поросшей травой земли, с небольшими пригорками и уклонами по мере приближения к рекам, лишенной деревьев и размеченной только похожими на холмы курганами – могилами исчезнувших кочевников. Вот как вспоминает свое путешествие Вильгельм де Рубрук: “Итак, мы направлялись к востоку, не видя ничего, кроме неба и земли, а иногда с правой руки море, именуемое морем Танаидским (Tanaus), а также усыпальницы Команов, которые видны были в двух лье”[18 - Перевод А. И. Малеина.]

В XIX веке западным туристам этот ландшафт казался угнетающим, уродливым и оскорбляющим прогрессивный разум. Другие, подобно Чехову, счастливы были дрейфовать по летней степи, вдыхая запах ее трав, выносливых сине-зеленых растений – чабреца, руты и полыни.

Термин “варвар” изначально появился как звукоподражательное греческое слово, означавшее чужой язык: бормочущее “вар-вар” неразборчивой речи. В “Илиаде” упоминается “говорящее наречием варварским” карийское войско. Идут бесконечные споры о том, что означает это слово, то есть действительно ли карийцы говорили на иностранном языке или они говорили по-гречески, но их произношение и интонации поражали других греков гомеровского периода как карикатурные и чужеземные. Однако вполне очевидно, что и во времена “Илиады”, и еще долгое время после греки не смешивали всех иностранцев в одну кучу под общим определением “варвары”. И уж точно они не использовали этот термин для общего обозначения уничижительной инакости, включающий в себя все, чем греки не являлись. Викторианские исследователи во времена империи неверно трактовали “Илиаду” как отчет о триумфе цивилизации над морально неполноценными “варварами” троянцами. Но в тексте поэмы нет ничего даже отдаленно подобного: если уж на то пошло, греки там более жестоки и вероломны (эпитеты, которые позже были свалены в корзину

“варварства”), чем троянцы.

В своей книге *Inventing the Barbarian* [“Изобретая варвара”] Эдит Холл утверждает, что эта великая перемена произошла во времена Персидских войн. “История изобретения варварства – это история столкновения греков и персов”. До этого времени определенно существовали “другие”: колдовские и чудовищные полулюди и прочие твари, предположительно, населявшие границы мира, подобно циклопам или гарпиям в “Одиссее”, сиренам или одноглазым аримаспам. Но в V веке до н. э. Афины, и прежде всего афинские драматурги, сконструировали единый варварский мир, втиснув такие различные между собой народы, как скифы-кочевники и городское население Месопотамии, в единую новую расу, и противопоставили его единому и сплоченному эллинистическому миру. Все, что афинская идеология считала чужеродным и отталкивающим, было отныне перенесено с “чудовища” на “варвара”. “Другой” был перемещен ближе – с неведомой окраины вселенной на границу греческого мира, на другой берег Черного или Эгейского моря. Эта новая раса, в свою очередь, породила и другие оппозиции. Не только аргонтия скифов была варварской в противоположность греческой автохтонности и оседлости; раболепие, трусость и любовь к роскоши персов или азиатов были варварскими в противоположность таким европейским и греческим достоинствам как независимость, сдержанность и отвага. К первородным близнецам “цивилизации” и “варварству” вскоре присоединился брат, которому суждена была не менее долгая жизнь, – дискурс “ориентализма”.

Афинские трагедии игрались во время городских дионисий. К концу Греко-персидских войн этот древний народный праздник постепенно превратился в крупное пропагандистское событие, призванное легитимизировать Афины и их политический курс, включая демократический строй, с которым афиняне теперь отождествляли себя в противоположность персидской “тирании”, грозившей им гибелью. “Персы” Эсхила были впервые представлены на сцене во время дионисий 472 года до н. э., всего через восемь лет после победы Афин при Саламине. Однако в “Персах” то, что Эдит Холл называет “абсолютной поляризацией” эллинского и варварского, предстает уже как нечто само собой разумеющееся (слово “варварский” встречается в тексте десять раз). Холл извлекает из “Персов” длинный список варварских характеристик. Варвары были жестоки, простодушны, распущенны и подвержены панике. Они были слишком падки на роскошь и чрезмерную утонченность. Они были необузданны в своих чувствах. Они купались в непристойном и невообразимом богатстве (*ploutos*), противоположности почтенного достатка (*olbos*), давшего имя Ольвии. Они чередовали бахвальство с трусостью. Они наделяли властью женщин, иногда даже вручая им военное командование или управление государством.

Этим последним пунктом греки были одержимы и очарованы. В V веке до н. э. их общество было уникально в своей исключительной, нервной маскулинности, но это греческое исключение, будучи воспринято сменившими греческую демократию централизованными имперскими обществами, со временем стало нормой. Римская империя переняла отождествление “цивилизации” с обществом тотального мужского доминирования вместе с вытекавшим из него убеждением, что политическая власть в руках женщины – верный признак варварства. Разумеется, ицены в Британии избрали Боудикку предводительницей своего восстания против римских захватчиков, а галльские женщины своими “белоснежными могучими руками”, как писал в IV веке Аммиан Марцеллин, наносили удары в потасовках, спасая своих мужей, – чего же еще было ждать от этих дикарей. От Римской империи традиция мужской власти перешла в Римско-католическую церковь, соединившись с иудейской патриархальной моделью. Протухшим осадком классического образования питается то глубочайшее возмущение, которое вызывает в сегодняшней Англиканской церкви допуск женщин к служению: женщина в алтаре – это “нецивилизованно”.

Последний пункт, который Эдит Холл извлекает из подтекста “Персов”, политического свойства. Греческие граждане были свободными. Варвары (в данном случае персы) свободными не были и насаждали деспотию и несвободу везде, куда приходили. Согласно законам полиса, афинские граждане были равны между собой в разных отношениях и совместно непрерывно ограничивали государственную власть. Варвары и все, кто в результате завоеваний становился их подданными, должны были унижаться, физически простираясь ниц перед деспотической и неограниченной царской властью. Хор в “Персах”, услышав известие о поражении персов при Саламине, возглашает: “Боле не будут оброков / Несть на господские нужды / Стран покоренных языки, / В прах пред владыкой склоняться <...> Всех недовольных развязан / Дерзкий язык, и не нужно / Вольного слова стеречься: / С выи ярмо соскользнуло!”[19 - Перевод с греческого Вяч. Иванова.]

В ближайшие несколько лет этот дискурс варварства, начатый Эсхилом, с воодушевлением подхватили другие драматурги. Пытаясь втиснуть вопиюще разных людей в единую категорию “варваров”, они сталкивались с очевидной проблемой. В Афинах было множество чужеземных рабов, прежде всего фракийцев и скифов, и их взаимное несходство было очевидно любому рабовладельцу. С логической точки зрения еще сложнее было отнести их к одной категории с персами, чья грамотная, высокоорганизованная городская культура гораздо больше сближала их с греками, чем со скифами. Эти трудности

удалось преодолеть, сделав упор на ту единственную общую черту, которая у всех этих чужестранцев действительно имелась, – тот факт, что они не были греками. Скифы и другие северные народы, предположительно, были дикими, выносливыми и свирепыми, в то время как персы считались изнеженными и развращенными легкой жизнью. Неважно! Склоняясь к одной из двух крайностей, варвары только показывали, как далеки они от греческого идеала *mesotes* – умеренности – или от греческой морали “ничего слишком”.

Более серьезную трудность представляло прошлое самих греков. В их собственной истории, как мифической так и сравнительно недавней, греки делали все то, что теперь осуждали как варварство. Герои и цари (а греки не могли отрицать, что некогда ими правили цари, а не демократия или олигархия) предавались всевозможным сексуальным излишествам, членовредительству и садистическим убийствам, упивались спонтанными эмоциями и не выказывали ни малейших признаков *mesotes*.

Одно изобретательное решение состояло в том, чтобы экспортировать это уголовное прошлое за море. К примеру, Еврипид представил своей театральной публике Медею как образец всех качеств варварской женщины: деспотичную, необузданную в страсти, убийцу собственного брата, а затем и собственных детей, ведьму, сведущую в приготовлении колдовских зелий. Но Эдит Холл показывает, что Медея появлялась в более ранней мифологии в облики гречанки – возможно, Агамеды из “Илиады”, дочери солнца, “Знавшей все травы целебные, сколько земля их рождает”. Еврипид переместил ее родину в Колхиду, на юго-восточную оконечность Черного моря: “Ее превращение в варварскую женщину почти наверняка было драматургическим приемом, изобретенным, вероятно, самим Еврипидом”. Терей был героем Мегары, города на Коринфском перешейке, до тех пор пока Софокл (в утерянной пьесе) не переселил его во Фракию и не сделал варварским царем, который изнасиловал сестру своей жены, отрезал ей язык и съел собственного сына. Еврипид, по всей видимости, придумал многих своих персонажей-варваров, для того чтобы выставить жестокость, лживость и склонность к жестоким убийствам своих близких характерными особенностями негреков. Холл предполагает, что центральный сюжет его “Ифигении в Тавриде” – ее жизнь в неволе жрицей у диких тавров на скалистой южной оконечности Крыма – зиждется на идее, что только варвары могут сделать культ из убийства потерпевших кораблекрушение чужестранцев путем сбрасывания их с крутого обрыва. Тем самым он в очередной раз беззастенчиво подверстывал под требования “политической корректности” греческую мифологию, которая изобилует сказками о греках, приносящих человеческие жертвы.

Однако не любое греческое “варварство” возможно было пересадить на другую почву, поэтому необходимо было придумать также варварские или “восточные” корни традициям, которые не соответствовали новому образу греков. Культ Диониса, к которому Скил примкнул в Ольвии, предполагал иступленные, оргиастические празднества-мистерии: драматурги приписали им иностранное происхождение из азиатской Фракии, хотя этот культ имел древние греческие корни и занимал центральное место в государственной религии самих Афин. Теперь садистическая жестокость была представлена как фракийская зараза, чрезмерная роскошь – как болезнь, занесенная из Азии. Хотя Эсхил и не изображает Клитемнестру варварской иммигранткой, но, перед тем как она убивает своего мужа Агамемнона (выведенного не по-гречески малодушным, неспособным указать женщине ее место), он заставляет ее изъясняться нарочито цветистым, подобострастным и “восточным” языком. Как пишет Холл: “Женственность, варварство, роскошь и высокомерие <...> образуют один неразрывный семантический ряд”.

Троянцы тоже были пущены в идеологическую переработку. Войну с Троей следовало переписать заново как первый раунд в космическом сражении между “европейской” добродетелью и “азиатским” пороком, нескончаемой войне между двумя половинами человечества, которая теперь возобновлялась схваткой между греками и персами. Образ троянцев, некогда отважных врагов, чья “мужественность” делала честь их противникам-грекам, начал приобретать восточные черты. Они стали неуловимо “азиатскими”, неподобающе чувствительными, инородными: такие покоренные, не похожие на эллинов троянцы были высечены на метопах Парфенона приблизительно в 435 году до н. э. Имперские культуры Рима и Византии унаследовали такое восприятие Троянской войны и соответствующее прочтение “Илиады” как первое литературное произведение о схватке между цивилизацией и варварством. Эта интерпретация практически не подвергалась сомнению на протяжении последующей тысячи лет.

Когда греки придумали термин “аутопсия”, он означал личное наблюдение. Это слово описывает индивидуализм и независимость ума, право человека принимать решения, основываясь на том, что он видел собственными глазами. К концу Средневековья аутопсия находилась в состоянии войны с авторитетным знанием – с той версией естественного мира и его географии, которая была изложена раз и навсегда в корпусе сохранившейся греко-римской литературы. Для сторонников авторитетного знания любые дальнейшие изыскания могли лишь дополнять *scholia* и заключались в простом комментировании и экзегезе

этого существующего уже свода знаний. Однако, с точки зрения сторонника аутопсии, исследование через путешествия, открытия или логическое рассуждение могло открыть совершенно новые факты, новые миры, неизвестные древним.

Для того чтобы убедить читателя воспринять что-то совершенно незнакомое, автор должен был использовать повествование, причем вести это повествование от первого лица: “я видел”, “я слышал”, “я испытал это сам”. Бартоломе де лас Касас, приступая к своей “Истории Индии” в 1527 году, объявил, что пишет “от великой и неотступной потребности сообщить всей Испании правдивый отчет и верное понимание о том, что происходило на моих глазах в Индийском океане”, и сказал министру императора Карла V, что был “старейшим из тех, кто отправился в Индию, и за долгие годы, которые я провел там, наблюдая собственными глазами, я не читал историй, которые могли быть лживы, а вместо того узнавал все благодаря своему опыту”. Пагден цитирует историка-иезуита Хосе де Акосту, который отправился в Америку и обнаружив, что мерзнет в полдень, хотя тропическое солнце светит прямо у него над головой – ситуация, невозможная с точки зрения античной метеорологии, – “смеялся и насмеялся над Аристотелем и его философией”.

В самом классическом мире аутопсическое повествование тоже встречалось, однако было редкостью. Слово *histor* поначалу означало непосредственного свидетеля, особенно в суде, и когда Геродот выбрал для своего труда заглавие *Histories*, оно несло в себе значение “расследования”, личных умозаключений дознавателя. В то же время Геродот лишь изредка снисходит до заявления, что он видел что-либо своими глазами, а затем до пояснения, что все прочее, что он имеет сказать, – только слух или неподтвержденный результат *historeion* (дознания). Греческие и римские историки постоянно производили “псевдоаутопсию”, описывая по образцу батальные сцены или реконструируя речи на смертном одре и при этом имитируя подлинное повествование от первого лица. Юлий Цезарь спланировал и возглавил завоевание Галлии, которое он описывает в “Галльской войне”. Но он не только вводит повествователя, говоря о себе в третьем лице (“Цезарь”), но и фактически предлагает искусственную реконструкцию событий (а именно сражений и речей), о которых, несомненно, хранил яркие и непосредственные воспоминания.

Никто не оспаривал ценность человеческого глаза как первостепенного и самого грозного из всех свидетелей. Но этот свидетель появлялся только в суде или, очень изредка, разрешал спор о географическом или природном факте. В любой

другой ситуации “я видел” звучало слегка сомнительно – более приемлемым считалось “я верю” или “я знаю”. Отсюда кажущаяся скрытность (или нелюбознательность) греческих и римских писателей, которые могли бы сообщать нам что-то невероятно интересное, что они наверняка видели собственными глазами, но предпочли этого не делать.

В этом смысле особенно раздражает поэт Овидий. В 8 году н. э. в возрасте немногим за пятьдесят он был отправлен императором Августом из Рима в ссылку на Черное море, в Томи, сейчас это румынский порт Констанца. Здесь этот умный, наблюдательный человек провел остаток жизни, продолжая писать бегло и пространно. Томи были древней греческой колонией в земле гетов, фракийского народа, который на протяжении многих веков жил вокруг дельты Дуная. Овидий встречал их каждый день, на улицах и в сельской местности за городскими стенами, и существуют очень убедительные косвенные доказательства, что у него были гетские друзья.

В одном из стихотворений он открывает, что выучил их язык достаточно хорошо для того, чтобы не только писать на нем стихи, но и читать и обсуждать их в кругу гетов: “Каждый, гляжу, закачал головой и полным колчаном / В гетских устах вскипел ропот и долго не молк”[20 - Перевод Н. Д. Вольпина.]. Казалось бы, это предполагало некую близость между автором и его читателями. Но Овидий был к ней не готов. Он изображает этот случай как полукомическое метание бисера перед свиньями: римлянин, читающий стихи перед разинувшими рот варварами. О гетском языке, о том, во что геты одевались, что они ели, во что верили и о чем пели, в тысячах и тысячах строк “Скорбных элегий” и “Писем с Понта” не сказано практически ничего. Еще меньше там говорится о самих Томах и жизни Овидия там – исключительно описания снежного, ветреного, варварского ада.

Многим читателям “Скорбные элегии” кажутся нелепыми причитаниями, полными жалости к себе и эгоцентризма. Константин Паустовский, живший в Одессе в 1921 году, “не понимал, как Овидий мог считать Черное море угрюмым. Это было одно из самых ярких и веселых морей. И о каком скифском холоде можно говорить в тех местах, где снег выпадал не каждую зиму? А если и выпадал, то лежал всего несколько дней, потом таял, и оттаявшая земля слабо пахла весной”.

Но “Скорбные элегии” – далеко не просто жалоба, а нечто гораздо большее. Даже если жизнь Овидия в Томах и не была непрерывным страданием, как он

заявлял, все, что он писал оттуда, было мольбой об отмене приговора, сетованием, призванным пробудить жалость в Августе и в кругу его фаворитов. Аутопсия чужой страны и ее населения прозвучала бы как фальшивая нота, намек на то, что он нашел в Томах утешение и интересы. Вероятно, так оно и было, но “Скорбные элегии” умышленно написаны изнутри самосознания римлянина, живущего в Риме, они чревоуважают, как о вымышленном опыте, обо всех тех ужасах и неудобствах, которые в представлении цивилизованного римлянина должны были сопровождать “жизнь среди варваров”.

Когда же Овидий прямо и откровенно пишет о том, что приключилось с ним, он пишет о Риме и о собственном несчастье там. Он был сослан отчасти за “Науку любви”, которую Август счел аморальной, отчасти потому, что не смог остаться в стороне от некоей неведомой сексуальной интриги с участием женщины из семьи императора. В первой книге “Скорбных элегий” он вспоминает последнюю долгую, бессонную ночь дома, замешательство по поводу того, какую одежду и багаж взять с собой утром, плачущую жену, потрясенных домашних рабов, столпившихся вокруг. Именно этот отрывок имел в виду Осип Мандельштам, когда писал собственную изумительную Trisita в 1920 году. На одном уровне Мандельштам, кажется, предчувствует собственный конец в советских Томах – сталинских лагерях: в эти моменты речь его звучит овидиански, скорбно. Но затем тайная, нелатинская, необъяснимая радость начинает подниматься, как рассветная дымка, со дня стихотворения, как будто вынужденная разлука одновременно представляет собой новое рождение в неведомой земле:

Я изучил науку расставанья

В простоволосых жалобах ночных.

Жуют волы, и длится ожиданье,

Последний час вигилий городских;

И чту обряд той петушиной ночи,

Когда, подняв дорожной скорби груз,

Глядели вдаль заплаканные очи

И женский плач мешался с пеньем муз.

Кто может знать при слове расставанье —

Какая нам разлука предстоит?..

Чтобы попасть в Ольвию, нужно проехать 200 километров на восток от Одессы через угрюмую равнину, где на протяжении всего пути не на что смотреть; выйдя из машины, вы ощущаете свежий юго-восточный ветер, дующий от воды. Водоем, который выглядит как море, но пахнет как пруд, – это лиман или лагуна, образованная устьем Буга там, где река соединяется с дельтой Днепра и впадает в море. Его пресная вода, в которой плодится судак, становится солоноватой, только когда шквал южного ветра поворачивает вспять течение реки и гонит соленую воду вверх по течению до самых руин Ольвии. Но эти реки так велики, что их дальние берега кажутся неясными линиями, начерченными углем на горизонте.

История Ольвии восходит к началу VI века до н. э., а возможно, даже к VII веку до н. э. Основателями этой колонии были искатели приключений из Милета, города на Эгейском море, которые перед этим уже воздвигли форпост на острове Березань, в нескольких милях к западу от побережья. Милетская колония разрослась, превратившись в процветающий город со стенами и внушительными четырехугольными башнями, вначале в торговую гавань, промышлявшую в основном рыбой, а затем с развитием хлебной торговли в столицу сельскохозяйственного региона: ее скифские поставщики могли жить за две сотни миль оттуда и даже дальше. Во времена расцвета Ольвии, около IV века до н. э., в ее стенах проживало, наверное, 30 или 40 тысяч человек. Но почти такое же количество людей жило в хоре, то есть в ближайших окрестностях полиса вглубь материка. Хора Ольвии развилась в густонаселенную сеть пшеничных полей и деревень, покрывавшую все побережье полуострова между дельтами Буга и Днепра.

Закат наступил в III веке до н. э. Спокойствие скифского народа было нарушено, когда усилился напор со стороны сарматов, другой кочевой индоиранской группы, которая мигрировала на запад из степей, лежащих между Волгой и Доном, и скифское господство стало ослабевать. Город подвергался набегам, а поставки зерна стали нерегулярными. Во II веке до н. э. группа скифов захватила власть в Ольвии, надеясь, вероятно, восстановить экспортную торговлю, принесшую такое богатство всему северо-западному побережью Черного моря. Но она не в силах была предотвратить бедствие 63 года до н. э., когда армия дакийцев и гетов пробилась от устья Дуная, захватила Ольвию и разрушила город. За следующие несколько десятилетий численность населения тут сократилась до каких-нибудь двух-трех тысяч. Еще столетием позднее, в период

римской оккупации, Ольвия снова стала городом, безопасным для жизни, и была в значительной мере отстроена, но так никогда полностью и не оправилась от гетского штурма. Она была разрушена снова, вероятно, готами в III веке, а затем – уже окончательно – гуннами около 370 года. После этого руины были заброшены, поросли травой и стали гнездилищем морских птиц.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Перевод Г. А. Стратановского.

2

Аполлоний Родосский. Аргонавтика / Пер. Г. Ф. Церетели.

3

Как пишет профессор Петер Шрайнер из Кёльна, специалист по питанию в Византии, сельскохозяйственный рабочий со средним заработком мог заработать на 45-килограммовую бочку икры всего за 15 дней. Профессор Шрайнер

отмечает, что сегодняшнему немецкому сельскохозяйственному рабочему пришлось бы потратить на такую бочку весь свой заработок за 18 месяцев.

4

Иначе взморника. – Прим. пер.

5

Современный Тракай. – Прим. пер.

6

Перевод И. Г. Шершеневича.

7

Граф Алексей Сергеевич Уваров (1825–1884), Филипп Карлович Брун (1804–1880), Роберт (Роман) Христианович Лепер (1865–1918). – Прим. пер.

8

Усердие (нем.).

9

От pronunciamiento (исп.) – вооруженное восстание в Испании и южноамериканских республиках, низвержение старого правительства и провозглашение нового. – Прим. пер.

10

Альфред де Виньи. Неволя и величие солдата / Перевод с франц. А. А. Энгельке.

11

А. И. Деникин. Очерки русской смуты. Париж, 1921.

12

В. Равдоникас. Пещерные города Крыма и готская проблема в связи со стадийным развитием Северного Причерноморья. ИГАИМК, т. XII, вып. 1–8. Готский сборник. Л., 1932. Цит. по: М. А. Миллер. Археология в СССР. Мюнхен, 1954.

13

М. Артамонов. Очерк древнейшей истории хазар. Л., 1936. Cit. *ibid.*

14

Иларион (Алфеев), ныне митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. – Прим. пер.

15

Преподобный Симеон Новый Богослов. Божественные гимны / Перевод иеромонаха Пантелеимона [Д. П. Ясненского]. Сергиев Посад, 1917. С. 261–262.

16

Перевод Геннадия Шмакова под редакцией Иосифа Бродского.

17

Сесил Джон Родс (1853–1902) – британский колониальный политический деятель и финансист. – Прим. пер.

18

Перевод А. И. Малеина.

19

Перевод с греческого Вяч. Иванова.

20

Перевод Н. Д. Вольпина.

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/nil-asherson/chernoe-more-kolybel-civilizacii-i-varvarstva-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)